

СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ

ДИССИДЕНТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В РАССКАЗАХ
УЧАСТНИКОВ



А. Архангельский
Свободные люди.
Диссидентское движение
в рассказах участников

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27433296
ISBN 9785448598784*

Аннотация

Над книгой работали А. Архангельский, К. Лученко, Т. Сорокина. Книга родилась из видеопроекта, размещенного на просветительском ресурсе «Арзамас». Интервью оформлены как монологи; это сборник рассказов о том, как люди решили стать свободными. Вопреки системе. Вопреки эпохе. Полная история диссидентского движения впереди; прежде чем выносить суждения, нужно выслушать свидетельские показания. Электронную версию книги готовили магистранты НИУ ВШЭ.

Содержание

О чем. Зачем. Ради чего	6
Константин Азадовский	19
Людмила Алексеева	40
Вячеслав Бахмин	60
Владимир Войнович	82
Арина Гинзбург	96
Наталья Горбаневская	115
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Свободные люди

Диссидентское движение

в рассказах участников

Автор проекта, составитель А. Архангельский

Составитель К. Лученко

Составитель Т. Сорокина

Монологи К. Азадовский, Л. Алексеева, В. Бахмин и др.

Состав, оформление «Время»

Редактор Т. Тимакова

Корректор Н. Конищева

Дизайнер обложки В. Калныныш

Редактор электронной версии А. Анюхина

Редактор электронной версии Э. Дзивалтовская

Редактор электронной версии З. Ермакова

Редактор электронной версии М. Моркин

Редактор электронной версии А. Писков

© А. Архангельский, составление, интервью, 2018

© К. Лученко, составление, интервью, 2018

© Т. Сорокина, составление, интервью, 2018

© К. Азадовский, Л. Алексеева, В. Бахмин и др., 2018

© «Время», состав, оформление, 2018

© В. Калныныш, художник, 2018

ISBN 978-5-4485-9878-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



О чем. Зачем. Ради чего

Анекдот излета брежневской поры. «Как будет выглядеть статья о Брежневе в энциклопедии XXI века? Примерно так. *Брежнев Леонид Ильич*. Мелкий политический деятель эпохи Сахарова и Солженицына». Когда-то казалось смешным, но в конце концов так и вышло. Несмотря на мощь политической власти, несмотря на горы выпущенной макулатуры. И даже несмотря на то, что через четверть века после смерти Брежнева новые мифологи попытаются изображать его эпоху как счастливый сон советского народа, а диссидентов – как случайный сбой в незыблемой системе. Мифологи уйдут, историческая реальность останется.

Она такова: на протяжении всего советского периода было не только восторженное большинство и отдельные умные циники, принявшие происходящее как данность, но и герои личного сопротивления. Новый всплеск сопротивления пришелся на вторую половину века; поколение, выросшее при советской власти и не помнящее прежней жизни, восприняло XX съезд и разоблачение культа личности (пускай усеченное, пускай робкое) как сигнал к действию. Как начало больших перемен. Каких перемен и к чему они ведут – не так уж важно. Одни уповали на младомарксизм и социализм с человеческим лицом, другие на конституционную демократию, третьи на религиозное возрождение и национальный подъ-

ем, четвертые на восстановление монархии; и все – на моральную точку отсчета, которая теперь появится в политике. Она не появилась; они не отступили; началась борьба.

Почему они, в абсолютном большинстве прошедшие свой путь безупречно, не стали нашей общей гордостью и оправданием, как герои национального сопротивления во многих сопредельных странах, почему к ним до сих пор так мало интереса – вопрос отдельный. Быть может, кое-что важное объясняет рассказ одного телевизионного историка. Он поделился со священником Вячеславом Резниковым (ныне, к сожалению, покойным) замыслом цикла документальных фильмов о новомучениках XX столетия. «Хороший замысел, – ответил ему Резников. – Но смотреть будут плохо». – «Почему?!» – «Потому что это никому сейчас не нужно. Мучеников было сколько? Сотни. А принявших эту жизнь? Миллионы. Нет, не будут смотреть». И это оказалось правдой. Не смотрели.

Но из этого никак не следует, что восстанавливать картину нашего сопротивления не нужно. Нужно. История все равно сильней закомплексованного вымысла. Один из множества шагов в заданном направлении – эта книга. Она была задумана шесть лет назад, когда мы с соавторами, Татьяной Сорокиной и Ксенией Лученко, решили создать полноценный архив видеопереговоров с бывшими диссидентами. По мере того как появлялись средства на аренду техники, поездки и монтаж (спасибо фонду «Либеральная миссия» во главе

с Евгением Григорьевичем Ясиным), мы проводили съемки. На будущее. Для сохранения видеопамяти. Записывали тех, кто был героем, – к счастью, их абсолютное большинство. И тех немногих, кто дрогнул, отступил, но признал и проанализировал ошибку. И даже тех (совсем единичные случаи), кто осознанно нарушил неписанные правила инакомыслящих, выпал из общего круга. Потому, во-первых, что и они прошли свой отрезок пути, побыли свободными людьми. Потому, во-вторых, что слова из песни не выкинешь, даже если иногда хотелось бы. Мы собирали свидетельства, а судить не наше дело и не наше право. Равно как разбираться, было это собственно обширное движение или только отдельные судьбы отдельных людей, решивших стать – и во многом ставших – свободными в несвободной стране.

Мы передавали оцифрованное видео в архив «Мемориала» и снимали дальше. Не все удалось сделать; не до всех героев русского сопротивления мы смогли доехать: далеко и дорого. Иногда катастрофически опаздывали: была назначена дата интервью с Владимиром Буковским, куплены билеты, арендованы камеры в Лондоне. И тут у него началось воспаление легких, а потом – двусмысленное обвинение, выдвинутое против него, и беседы стали невозможны. Договорились о встрече с Валерием Сендеровым, и тут же его не стало...

Тем не менее многое успелось. Скажем, больше нет на этом свете Натальи Горбаневской и отца Глеба Якунина,

но разговоры с ними – в архиве.

Работа продолжалась и будет продолжаться. И чем сильнее разрастался архив, тем яснее становилось, что он просится на встречу с публикой. Причем не как собрание научных (они же биографические) материалов для будущих исследователей, а именно как собрание рассказов, простых, искренних, иногда сентиментальных, иногда холодноватых. Как разговор с днем сегодняшним – от имени непрощедшего прошлого, изнутри невероятного личного опыта.

Как только это стало ясно, сама собой определилась форма: наши вопросы мешают, интервью должны звучать как монологи. Потому что это не академическая история, а живое свидетельство веры – в себя, в правду, в свободу, в независимость от духа времени. Получился сборник автобиографических рассказов.

И все они посвящены ответу на несколько тесно связанных друг с другом вопросов: как могло случиться, что посреди тотального контроля, внутри непроницаемой системы, в абсолютно подсоветских поколениях смог зародиться дух свободы? Как люди могли решиться – и решились – прожить свою собственную жизнь вопреки роли, навязанной им обществом и властью. Как попадали в ловушки, как выбирались (или не сумели выбраться) из них? Что думают о собственном – и общем – опыте сегодня?

В конце 2016 года мы вместе с просветительским ресурсом «Арзамас» подготовили и разместили на его платфор-

ме смонтированные версии монологов. Теперь выпускаем их (и не только их; несколько интервью добавилось) в виде книги. Принцип размещения – алфавитный; никакого другого здесь быть не может. Один из монологов (Татьяна Горичева) был подготовлен для ресурса «Православие и мир»; благодарим редакцию за любезное разрешение включить его в сборник.

К. Лученко подготовила для книги монологи К. Азадовского, Л. Алексеевой, Н. Горбаневской, Т. Горичевой, А. Огородникова, И. Огурцова, А. Подрабинека, Н. Щаранского, Н. Санниковой, Г. Якунина.

Т. Сорокина – монологи В. Бахмина, В. Борщева, В. Войновича, А. Гинзбург, Ю. Даниэля, Ю. Кима, С. Ковалева, Т. Лашковой, П. Литвинова, Р. Медведева, Н. Нима, В. Осипова, Г. Павловского, А. Рогинского, М. Слоним, Г. Суперфина, С. Ходоровича.

Остается лишь дополнить сборник ссылками на всякие источники, которыми читатель может воспользоваться, если его не просто взволнуют судьбы наших героев, но и захочется понять, что это было, захочется прочесть воспоминания тех, кого мы не проинтервьюировали, или тех, кого уже нет с нами.

Список этот будет по необходимости кратким, при том что мог бы оказаться безразмерным.

Борьба за историческую память бывает гораздо острее, чем политическая борьба.

Спор о прошлом – это выбор будущего: как мы помним, так и будем жить.

Диссиденты начали борьбу за память с самого начала; подпольные сборники архивных документов, которые выпускали Арсений Рогинский и его коллеги, так и назывались – «Память», а общество, учрежденное в 1989 году, было названо «Мемориал».

Что почитать: *документы*

Почти все значимые документы (самиздатские журналы, публицистические тексты, стихи, проза) с 1950-х до «Метрополя» и позже собраны на ресурсе «Антология самиздата» под редакцией диссидента Вяч. Игрунова, составитель М. Барбакадзе: <http://antology.igrunov.ru>.

Архив по истории диссидентов, полный оцифрованный комплект «Хроники текущих событий», каталог самиздата с системой поиска – на сайте «Мемориала»: <http://old.memo.ru/history/diss/index.htm>.

Что почитать: *мемуары*

Мемуары диссидентов – и о диссидентах – выпущены отдельными книгами.

Самые известные из них – «Постскриптум: Книга о горьковской ссылке [А. Д. Сахарова]» **Елены Боннэр** (М.,

1990), «Воспоминания» самого **Андрея Сахарова**, «Бодался теленок с дубом» **Александра Солженицына**.

В «Воспоминаниях» великий физик и великий диссидент вспоминает весь свой путь, от рождения до ссылки в Горький. Из книги становится ясно, как человек, удостоенный главных советских наград, обласканный партийной властью (Хрущев всегда ему перезванивал и, не соглашаясь, слушал внимательно), становится ссыльным изгоем. Не в результате поражения, а в результате победы – над собой, над обстоятельствами, над эпохой. А солженицынская книга охватывает промежуток от 1950-х до высылки писателя из СССР (1974). Книга прежде всего о литературе как деле свободы, о том, как писатель избавляется от внутреннего рабства и превращает творчество в духовное сопротивление. В «Теленке» сильно полемическое начало; Солженицын спорит со многими диссидентами, считая, что они уклонялись во всемирное в ущерб национальному.

Людмила Алексеева написала книгу «Поколение оттепели» (М., 2006). Алексеева была машинисткой самых первых выпусков «Хроники текущих событий», помогала семьям заключенных; ее книга – первая попытка привести в систему разрозненные сведения о советских диссидентах оттепельного поколения. Краткие четкие справки. Яркие воспоминания о друзьях, учителях и оппонентах – Сахарове и Солженицыне, Ларисе Богораз и Натане Щаранском.

Наталья Горбаневская выпустила книгу «Полдень: Де-

ло о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади» (М., 2007). Как в тотально контролируемом обществе, в самом охраняемом (разве что после Лубянки) месте в СССР могла пройти демонстрация против вторжения советских войск в Чехословакию? Кто были эти герои? Что делала на демонстрации коляска с маленьким ребенком? Что произошло с участниками? Об этом – основанная на документах и личных воспоминаниях книга замечательного поэта Н. Горбаневской. [Главы есть в открытом доступе: <http://magazines.russ.ru/ural/2005/6/go7.html>].

Выдающийся диссидент **Владимир Буковский** написал книги о движении и о своем участии в нем: «И возвращается ветер...» (М., 2007), и «Московский процесс» (Париж; М., 1996). Двенадцать лет в тюрьме и лагерях. Осознанная, твердая борьба политика, а не просто мирное духовное сопротивление. При этом – ставка на политику, которая основана на морали и поэтому несокрушима. Атмосфера эпохи.

Андрей Амальрик, предсказавший крах СССР и страшным образом погибший в эмиграции, оставил «Записки диссидента» (М., 1991). **Лариса Богораз** сохранила «Сны памяти» (Харьков, 2009). О борьбе с карательной психиатрией в своих «Заметках» вспоминает **Вячеслав Бахмин** (М., 2000). О борьбе русских националистов – **Леонид Бородин** («Без выбора: автобиографическое повествование». М., 2003) и **Владимир Осипов** («Дубравлаг». М., 2003; книга есть в открытом доступе:

www.sakharovcenter.ru/asfcd/auth/?t=book&num=214). **Зоя Крахмальникова**, один из лидеров христианского сопротивления, выпустила в 1995 году книгу «Слушай, тюрьма! Лефортовские записки».

Невероятно важны воспоминания героического генерала Григоренко (**Петр Григоренко**. «В подполье можно встретить только крыс...» М., 1997), младомарксиста, одного из первых диссидентов **Бориса Вайля** («Особо опасный». Харьков, 2005), лагерные письма **Юлия Даниэля**, который вместе с Андреем Синявским публиковал на Западе книги под общим псевдонимом **Абрам Терц** («Я все сбиваюсь на литературу...»: Письма из заключения. М., 2000). В открытом доступе есть мемуары писателя **Владимира Войновича** «Дело 34840»: <http://bonread.ru/vladimir-voynovich-delo-34840.html>. Петербургский диссидент **Юлий Рыбаков**, приговоренный к шести годам в 1976-м, написал воспоминания «Мой век: историко-биографические заметки» (Ч. I. СПб., 2010).

Оставила свои «Записки адвоката» **Дина Каминская**, которая профессионально и бесстрашно защищала диссидентов (М., 2009). Посмертно изданы «Мои показания» **Александра Марченко** (М., 1993).

Кроме этого полезно – и важно – прочесть книги **Ильи Габая** («...Горстка книг да дружества». Бостон, 2011), одного из отцов-основателей Движения **Александра Есенина-Вольпина** («Философия. Логика. Поэзия. Защита прав

человека». М., 1999), «Исповедь отщепенца» **Александра Зиновьева** (М., 2005), «Поединок: Записки антикоммуниста» **Виктора Красина** (Surbiton, 2012), «Шаг влево, шаг вправо...» **Эдуарда Кузнецова** (Иерусалим, 2000), «Опасные мысли: Мемуары из русской жизни» **Юрия Орлова** (М., 2008), «Мы жили в Москве. 1956—1980» **Раисы Орловой** и **Льва Копелева** (Харьков, 2012), «Не убоюсь зла» **Натана Щаранского**, посмертно изданный «Женский портрет в тюремном интерьере: Записки православной» **Татьяны Щипковой** (М., 2011), «На карнавале истории» **Леонида Плюща** (Лондон, 1979), «Опыт биографии» **Феликса Светова** (М., 2006), «Я – особо опасный преступник» и «Последний диссидент» **Льва Тимофеева** (обе книги есть на его сайте в открытом доступе: <http://levtimofeev.ru/posledniy-dissident>). Невозможно пройти мимо «Хроник казни Юрия Галанскова в его письмах из зоны ЖХ-385, свидетельствах и документах» (М., 2006) и «По ту сторону отчаяния» (М., 1993) **Валерии Новодворской**, которая не считала себя диссидентом, но мужественным врагом и политическим борцом, конечно, была.

В самое последнее время вышли в свет книга **Александра Подрабиника** «Диссиденты» (М., 2014) и сборник воспоминаний о **Наталье Горбаневской** под редакцией Людмилы Улицкой «Поэтка» (М., 2015).

Есть сайты, созданные некоторыми участниками Движения, где помещаются воспоминания, полемические ста-

ты, заявления (например, сайт **Сергея Григорьянца**, чьи взгляды и оценки диссидентского движения резко отличаются от распространенных: <http://grigoryants.ru>).

На ресурсе Colta.ru опубликован замечательный цикл «Диссиденты» – интервью, которые на протяжении долгого времени брал и публиковал **Глеб Морев**: <http://www.colta.ru/dissidents>. Позже он был собран в книгу «Диссиденты» (М., 2017).

Что почитать: исследования

Сразу после краха СССР **Людмила Алексеева** выпустила обзорную книгу «История инакомыслия в СССР: новейший период» (М., 1992). Книга сохранила свое значение – она дает возможность увидеть картину в целом, как бы с высоты птичьего полета, без лишних деталей. Третье издание (2012) есть на сайте Московской Хельсинкской группы: <http://www.mhg.ru/files/012/Histinak>.

Историки диссидентского движения часто упрекают в том, что они сосредоточены на либеральном опыте, в то время как были и националистический, и монархический, и религиозный (перемешанные в разных пропорциях). Этот перекос исправляет исследование **Николая Митрохина** «Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953—1985 годы» (М., 2003).

Недавно по-русски вышла книга французского академи-

ческого историка **Сесиль Вессье** «За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России» (М., 2015). В ее книге показаны самые разные группы – от западников до националистов; даны подробные биографические справки, библиография. Четко, сжато и по делу.

Что посмотреть

В 2005 году журналист **Владимир Кара-Мурза** (младший) представил публике четырехсерийный фильм о диссидентах «Они выбирали свободу». Здесь звучат голоса диссидентов, кратко и ясно изложена канва истории движения. Фильм есть в открытом доступе: <http://www.newsru.com/russia/01dec2005/film.html>.

Невероятную работу проделала известный журналист и бард **Нателла Болтянская** – она сняла и вывесила в открытом доступе более 35 видеопрограмм, посвященных диссидентскому движению: <http://www.golosaameriki.ru/z/3912.html>.

Посмотрите – здесь и ее рассказ, и живые разговоры с выдающимися диссидентами.

Бурные споры вызвал яркий фильм **Андрея Лошака** «Анатомия предательства», посвященный трагической истории процесса над Владимиром Красным и Петром Якиром: https://tvrain.ru/teleshov/reportazh/anatomija_protsesta_film_andreja_loshaka-351318/.

Видеoverсии некоторых (не всех) монологов, собранных в эту книгу, размещены на гуманитарной платформе «Арзамас»: <http://arzamas.academy/materials/1209>.

Благодарим Архив международного общества «Мемориал» и лично А. Макарова и Т. Хромову за фотографии, предоставленные для электронной версии книги.

Константин Азадовский



Константин Маркович Азадовский родился 14 сентября 1941 года. Сын фольклориста и этнографа Марка Азадовского. В 1963 году окончил филологический факультет Ленинградского университета, а в 1969-м – вечернее отделение истфака. Преподавал иностранные языки в разных вузах Ленинграда и Петрозаводска. В 1971 году защитил диссертацию, до 1980 года был заведующим кафедрой иностранных языков Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухомовой. В 1980 году арестован и осужден по сфабрикованному КГБ делу о хранении наркотиков. Два года отбыл в лагере в Магаданской области. По этому же обвинению осуждена его жена Светлана. В 1989 году Константин Азадовский реабилитирован, а в 1993-м Комиссия по реабилитации Верховного Совета СССР признала, что он был репрессирован по политическим мотивам.

Я родился в интеллигентной семье, мой отец был профессором Ленинградского университета, мать работала в библиотеке. В доме было много книг, много умных разговоров,

много литературы и литературных имен, но я родился в сорок первом году, рос в послевоенные годы и во многом был советским мальчиком. Как и многие мои сверстники, испытал на себе очень сильное влияние и двора, и советской школы, был затронут, я бы даже сказал, испорчен советской жизнью. Родители старались воспитать меня в духе тех традиций, которым они сами были преданы. Считалось, что молодой человек, имеющий гуманитарное образование, должен хорошо знать иностранные языки. Мама моя вообще из семьи петербургских немцев, немецкий у нее был почти родным языком, и она старалась передать это мне. Меня отдали в испанскую школу, были такие в конце сороковых – начале пятидесятых. Я много занимался испанским, потом это пригодилось. С годами в мою жизнь вошли другие языки, в конце концов именно это и стало моей специальностью. Я окончил Ленинградский университет, занимался германистикой и потом многие годы преподавал иностранные языки в Ленинграде и в Петрозаводске.

Я не ощущал себя человеком, который противостоит системе. Очень многое из того, что мы знаем сейчас, было вообще неизвестно нашему поколению. Книги, которые печатались на Западе, стали приходить в нашу жизнь гораздо позднее, в конце шестидесятых – начале семидесятых. Рассказы старших о тридцатых годах, о ГУЛАГе, конечно, циркулировали в нашем кругу. В этой среде террор двадцатых – тридцатых годов затронул почти каждую семью, об этом го-

ворили. Тем не менее повседневная жизнь молодого человека – знакомства, интересы, общение – вытесняет размышления о прошлом. Хотя внимание к этим вопросам было более глубокое, чем в других социальных и культурных слоях советской страны. Конечно, мы обсуждали, что происходит. Мы начали задумываться над тем, что такое русская культурная жизнь за границей, мы интересовались эмиграцией, первой и второй волной. Но это не рождало ощущения чуждости, враждебности. Мы были многим недовольны, слушали западное радио, читали книги, но я понимал, что я живу в этой стране, в ней есть свои законы, многие из них меня не устраивают, но это не значит, что я должен выходить на площадь: в те годы это было немислимо. Я не должен лезть в большую политику, обострять свои отношения с системой, но должен честно делать свое профессиональное дело. Примерно так я был воспитан.

Те из моих сверстников (и в целом – сограждан), кто осознавал всю глубину деградации и пытался громко сказать свое слово – именно их называли диссидентами, – были лучшими людьми нашей страны. Они много сделали для того, чтобы монстр под названием Советский Союз в конце концов развалился. Но это я понимаю сейчас, спустя много лет. А тогда я в какой-то степени сочувствовал этим людям, относился к ним с интересом и симпатией, но сам к ним не принадлежал. Я могу сказать о себе, как и многие в моем окружении: да, мы были инакомыслящими, что-то читали, над

чем-то думали, слушали радио, но я никогда не совершал никаких действий, которые с позиций того времени можно было бы расценить как противоправные.

Поэтому когда случилось то, что случилось, это было для меня совершенно неожиданно. В одно отнюдь не прекрасное утро, как в плохом детективном фильме, очень рано раздался звонок в дверь, и когда я подошел, женский голос сказал: «Телеграмма». И я открыл дверь. Тут же в квартиру ввалились четверо мужчин, один из них предъявил мне бумагу, которая называлась «Ордер на производство обыска», и представился. Это были сотрудники Ленинградского ГУВД из отдела по борьбе с наркотиками. «А в чем, собственно, дело?» – спросил я. «А дело в том, что вчера вечером задержали вашу жену». Моя жена Светлана (отношения еще не были зарегистрированы, она жила у себя дома, а я жил с мамой) действительно накануне не объявилась, не позвонила, что меня удивило, но разобраться в этом я не успел.

Много времени спустя выяснится, что накануне того дня, когда они позвонили мне в дверь, Светлана встретила с одним из своих знакомых, которого знала очень мало и который представлялся испанцем. Он позвонил ей, сказал, что уезжает из Советского Союза, где учился, был студентом, и хочет попрощаться. Они сели в кафе. Он заявил, что хочет поблагодарить ее за помощь и сделать подарок. На прощанье попросил: «Моим знакомым очень нужно лекарство, у вас такого лекарства нет, я его получил из Испании. Они позво-

нят тебе, передай им лекарство». Она согласилась взять пакетик, и на этом они расстались. Светлана как раз собиралась зайти ко мне, завернула во двор. Неожиданно к ней подошли люди, которые сказали, что ее подозревают в хранении наркотика, просят пройти в ближайший опорный пункт на предмет обыска. Когда дело дошло до осмотра ее сумочки, обнаружился тот самый пакетик с «лекарством». Это была анаша. Светлану задержали.

На следующее утро заявили с обыском ко мне. Он происходил весьма своеобразно. По моим представлениям, когда ищут наркотики, надо смотреть, какие лекарства есть в квартире, исследовать порошки, пузырьки, шприцы, медицинские рецепты. Всего этого было немало, потому что моя мама была больным человеком. Я даже предложил им показать, где у нас аптечка, где лекарства стоят, какие есть рецепты, но они отказались. Зато все внимание было направлено на изучение книг, бумаг и фотографий. Я в ту пору энергично занимался научной работой, литературой периода, который сейчас называется Серебряным веком. У меня было много материалов. Вот это и стало предметом пристального внимания. Более того, они растерялись, когда наткнулись на сотни фотографий. Капитан, который проводил обыск, стал звонить кому-то и просить помощи, потому что они не могут разобраться, что делать с фотографиями, неужели каждую описывать? Минут через сорок-пятьдесят один из сотрудников милиции воскликнул: «Ага, вот оно!» Он из-

за книг на полке извлек небольшой пакетик, который я впервые видел. Произошло примерно то же, что накануне с моей женой. Пакетик был развернут, милиционеры потрогали, попробовали пальцем, языком и сказали: «Да, это, скорее всего, анаша. Константин Маркович, мы вынуждены вас задержать, вы должны проехать с нами».

Они долго составляли протокол обыска, вписывали книги – все книги, изданные на русском языке, но за рубежом. Причем это были не воспоминания каких-то злостных белогвардейцев, а книги по русской литературе, по русской культуре. Это были и Мандельштам, и Ахматова, и Пильняк, и Зощенко. Потом они начали отбирать фотографии тех поэтов и деятелей культуры, которые вроде не должны вызывать подозрения. Правда, снимки эти широко не публиковались в советское время. Есенин в обнимку с Айседорой Дункан или Есенин, сфотографированный после того, как он был вынут из петли. Маяковский после самоубийства с кровавым пятном на рубашке. Блок в гробу. Все, что связано со смертью поэтов, живо интересовало сотрудников, производивших обыск. И это можно понять, потому что смерть этих поэтов связана с определенными легендами и подозрениями. В других обстоятельствах все они жили бы гораздо дольше. Но меня удивило, что была отобрана и фотография с картиной Ильи Глазунова «Мистерия XX века», на которой изображены все крупнейшие политические и общественные деятели XX века. Есть там и Ленин, и Троцкий, и Мао Цзэ-

дун. Этот снимок зачем-то конфисковали.

Много лет спустя подтвердилось то, что я заподозрил сразу: двое из тех, кто производил у меня обыск, были никакие не милиционеры. Они были из другой организации, которая называлась Комитет государственной безопасности. Но если обыск проводит Комитет государственной безопасности, то при чем здесь хранение наркотиков? Комитет государственной безопасности наркотиками не занимается. Но это обнаружится в будущем. А тогда я простился с мамой, и меня отвезли в отделение милиции.

Потом следователь сказал мне, что есть постановление о моем аресте и я стал обвиняемым по статье 224, часть третья – «незаконное хранение и сбыт наркотиков». Полгода до суда я провел в тюрьме «Кресты», и начался отрезок моей жизни, который в жизни каждого человека, прошедшего через подобные истории, – отдельная драматическая глава. В моем случае это было, конечно, сопряжено с особыми переживаниями, потому что я не чувствовал себя ни в чем виноватым. И я даже не очень понимал, что на самом деле происходит. Перебирал в памяти разные эпизоды своей жизни, гадал, что могло случиться: может, кто-то донос на меня написал, какие у меня есть враги, при чем здесь моя жена. То, что за этим стоит КГБ, удалось узнать и юридически доказать значительно позже.

Пребывание в камере и в этой закрытой системе – совершенно особый опыт. Сейчас какие-то его аспекты беллетри-

зованы благодаря фильмам и книгам, но это дает лишь общее и отдаленное представление о том, что такое жизнь, когда ты ясно понимаешь, что вот в этой переполненной камере есть какие-то люди, которые связаны с оперчастью и которые ориентированы именно на тебя, что нужно фильтровать каждое слово, не делать никаких ложных шагов и поступков, постоянно быть настороже и начеку. Это приходит с опытом. А опыт берется только из реальности. Вдвойне это все трудно для человека интеллигентного, у которого есть свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, у которого есть принципы. Я не знал, что стало с женой, в каком состоянии находится мама. Следствие идет, и никакое сношение с внешним миром невозможно. Хотя никакого следствия и не было: по прошествии трех месяцев мне предложили ознакомиться с делом, которое состояло из двух-трех бумажек.

Менялись адвокаты, для меня было очевидно, что дело шьется, но я не знал, что делать и как защищаться. В марте 1981 года меня судили в Куйбышевском народном суде; впоследствии я узнал, что там же за несколько недель до этого судили мою жену и дали ей за незаконное хранение наркотиков полтора года лагеря общего режима. Поскольку суд формально был открытым, а весть о том, что со мной случилось, прокатилась по городу, где у меня было много друзей, пришло довольно много народу. Я впервые за три месяца увидел знакомые лица, когда меня вели в зал. А зал при

этом был заполнен какими-то незнакомыми мне молодыми людьми с неподвижными лицами. То ли школа КГБ, то ли какие-то курсанты. Только три или четыре человека из моих друзей и знакомых смогли проникнуть – видимо, по недосмотру распорядителей.

Заседание продолжалось несколько часов и напоминало пародию на суд. Хотя и в наши времена мы все чаще видим такие пародии. Найденного на полке пакетика с анашой было недостаточно, нет доказательств, что это я его туда положил. Но следователь Каменко представил экспертизу. Якобы в мусоре и крошках, которые изъяли из карманов моей дубленки, тоже нашли частицы анаши. И это были все доказательства моей причастности к наркотикам, которых я никогда в жизни не употреблял. В то, что меня обвиняют и судят как наркомана, не поверил ни один человек в том ленинградском мире, в котором я жил. Если бы они мне подкинули валюту, в это еще как-то можно было поверить. Ходили разные, совершенно невероятные предположения: что у меня во дворе несколько дней назад нашли труп, что я передавал на Запад микрофильм с секретными данными. Приговор суда был за незаконное хранение без цели сбыта – полтора года лагеря общего режима. Потом была кассация, она длилась еще несколько месяцев. В общей сложности через полгода после ареста меня из «Крестов», как говорится, «дернули» на этап. Объявили: в Магадан. Дежурный офицер и сам был удивлен – с таким сроком скорее полагалась Ленинград-

ская область.

Этап – это худшее и самое трудное испытание, там царит полный эковский и милицейский беспредел; не думаю, что сейчас что-то изменилось. Ситуация подвижна, человека перемещают, никто его не знает. Конвой может ошибиться, какое-то случайное слово или жест принять за сопротивление. Шаг в сторону – это, как известно, побег. Может произойти все что угодно. Формально обязаны отделять один вид режима от другого. Особый режим, конечно, всегда отделяли, но усиленный и общий часто перемешивались: очень опытные зэки перемешивались с первоходками. Происходили страшные вещи. Много точного и умного написано о лагерях и жизни в той системе – и Варлам Шаламов, и Анатолий Жигулин, и замечательная книга археолога Льва Клейна «Перевернутый мир». Но нигде я до сих пор не встречал описания этапа в том виде, в каком он предстал мне летом 81-го года, – звериное царство.

В каждом большом городе была остановка: сначала в Свердловске, потом в Новосибирске, в Иркутске, в Хабаровске. Везде несколько дней, новая камера, новые люди, новые разговоры. Некоторое время я провел в магаданской тюрьме. Позднее я узнал, что как раз решался вопрос, что со мной на самом деле делать. Многие из моих друзей, которые в это время уже были на Западе, развернули кампанию в мою поддержку и старались мне помочь оттуда. Несколько раз выступал в печати Бродский. Довлатов постоянно уде-

лял внимание в своей нью-йоркской газете «Новый американец». Мой старший друг Лев Зиновьевич Копелев находился в Германии и в своих беседах с высшим руководством страны называл мою фамилию. В итальянском левом издательстве вышла книжка, в которой я принимал участие, и итальянские коммунисты ставили вопрос: «Что вообще у вас происходит? И при чем здесь наркотики, когда речь идет о научном работнике?» Были сомнения, не отправить ли меня все-таки на Запад.

Но в итоге я попал в поселок Сусуман Магаданской области. Это такой небольшой поселок, где заканчивается знаменитая трасса, дальше в сторону Якутии никакого пути нет. Зимой морозы достигали 60—68 градусов. Но климат сухой, его можно вынести. Мои впечатления от пенитенциарной системы в том виде, в каком я увидел ее на Колыме, более-менее соответствовали моему представлению о ней. В магаданской тюрьме не было ничего подобного тому, что я видел и в «Крестах», и во всех семи или восьми тюрьмах, в которых побывал на этапе. Там было относительно чисто, не было перегруженности, переполненности камер, регулярно давали простыни, выводили на прогулку. Там не было такого беспредела, когда непонравившегося зэка, как говорится, «пускают под молотки» подвыпившие охранники, чтобы развлечься и поразмяться.

А здесь все это было в избытке. Вероятно, миллионы теней погибших, которые ассоциируются с этим краем, ка-

ким-то незримым образом определяли политику областного начальства.

Одновременно со мной в лагере был баптистский священник, очень известный в своей среде. Это была баптистская группа «Совет церквей», в горбачевское время почти все они уехали из СССР в Канаду. Они сопротивлялись режиму, не разрешали сыновьям идти в армию и так далее. Фамилия этого священника была Редин, мы с ним вели долгие разговоры. Было несколько человек из Москвы, которые оказались на Колыме за свою деятельность, связанную с правом выезда из СССР в Израиль. Например, Борис Чернобыльский попал на Колыму за то, что милиционеру, который называл его жидовской мордой, сказал: «Прекратите ваши грубости». И все – сопротивление милиции, год лагерей.

В декабре 1982 года, через полтора месяца после смерти Брежнева, я был освобожден и в начале 83-го года вернулся в Ленинград. Мама была еще жива, мне удалось к ней прописаться. Казалось бы, история закончилась: человека освободили, он вернулся, и все. Но на самом деле тогда только все и начиналось.

Я понял, что должен что-то делать, что невозможно пытаться построить жизнь, как будто ничего не произошло. Я знал, что живу в стране, где миллионы невинных людей были не то что на два года на Колыму отправлены, но просто поставлены к стенке и зарыты в общей могиле.

На работу меня никуда не брали. Я переводил с иностран-

ных языков, что-то пытался писать, но фамилия была известная, дело шумное, никакая редакция меня не печатала. Мне нужно было любой ценой добиться реабилитации. А как можно опровергнуть дело, которое создано руками КГБ? Да и это еще нужно было доказать. Я обращался во все инстанции: в городскую прокуратуру, в Генеральную прокуратуру СССР, в ЦК КПСС – куда только я не писал. Я пытался получить назад изъятые книги и фотографии. Вел переписку с организацией, называвшейся «Управление по охране государственных тайн в печати». Из отписок, которые я получал в разных инстанциях, можно составить целые тома.

Было глухое время, андроповское, потом черненкоовское, а потом к власти пришел Горбачев. И у меня не было поначалу ощущения, что ситуация изменится. Наоборот, мои друзья, знакомые, все говорили: «Ситуация ужасная, пришел к управлению страной молодой, полный сил, энергичный генеральный секретарь – это надолго, это навсегда. Единственное, что ты можешь сделать, – уехать. Может быть, тебя отпустят?» Я предпринимал шаги к тому, чтобы покинуть страну, хотя уезжать мне не хотелось.

И вот в 85-м году мой друг, замечательный историк Натан Эйдельман, познакомил меня с московским журналистом Юрием Щекочихиным, который работал тогда в «Литературной газете». Потом мы с ним тесно сдружились, и Юра мне говорил: «Из всех, о ком я писал, ты первый, с кем меня связывают дружеские отношения. Обычно это просто моя

работа – судьба человека, его история, которую я пишу». Я ему обязан очень многим, полным разрушением моего дела.

Юра посоветовал мне связаться с писателями, чтобы они в свою очередь обратились с письмом либо прямо в прокуратуру, либо в «Литературную газету» и попросили разобраться в моем деле. И действительно, самые разные ленинградские и московские писатели – Гранин, Стругацкий, Гордин, Нина Катерли, Александр Кушнер, Каверин, Бакланов, Приставкин – подписали письмо. Я был у Окуджавы, мой рассказ все время вызывал у него реплики: «Боже мой, неужели это правда? Как же это могло быть?» Мне даже показалось странным, что такой человек, как Окуджава, проживший жизнь в нашей стране, удивляется тому, что было довольно типичным. Дмитрий Сергеевич Лихачев принимал близкое участие в моих тогдашних перипетиях.

Письмо было направлено через «Литгазету» генеральному прокурору Сухареву. И в 87-м году произошел первый сдвиг в этом деле. Все юристы хорошо знают, что если вынуть один кирпич из такой конструкции, то рано или поздно вся конструкция рухнет. Первый кирпич назывался «протест на приговор районного суда 1981 года». Поводом было то, что на обыске, как выясняется, действительно были непонятные люди. Дело вторично рассматривалось в Куйбышевском суде. Сотрудники милиции рассказывали интересные вещи о том, как это дело организовывалось. Они не называли имен, слишком глубоко не погружались в детали, но бы-

ли любопытные моменты, особенно когда мы разговаривали в коридорах. Один мне сказал: «Константин Маркович, вы действительно думаете, что это мы вам подложили наркотик?» – «Да, я думаю, лично вы и подложили. Вы обыскивали полку». – «Не туда смотрите». – «А куда я должен смотреть? Кого я должен подозревать? Мою маму?» – «Поищите среди ваших знакомых». По решению суда дело было отправлено на следствие. Что можно доследовать спустя восемь лет? Дело поступило в управление внутренних дел, где было закрыто за недоказанностью. Я должен был быть восстановлен на работе и получить компенсацию.

Восстановиться на работе в должности заведующего кафедрой в Мухинском училище оказалось непросто, место было занято другим человеком. Кроме того, в деле присутствовала клеветническая характеристика, которую мне выдали проректор Шестко и партбюро, я в ней обвинялся во всех смертных грехах: и моральный облик, и профессиональный уровень чрезвычайно низкий, и экстравагантные поступки... Пришлось пройти еще через один суд, гражданский, по защите чести и достоинства, чтобы опровергнуть эту характеристику. Все пункты были опровергнуты. Я был восстановлен на работе, где проработал недолго, потому что работать в коллективе, где все помнили это дело, оказалось психологически трудно.

В 90-е годы началась новая жизнь. Меня стали приглашать западноевропейские, американские университеты. Я

много работал за границей, читал лекции. Но когда я был здесь, то продолжал вести борьбу за реабилитацию, все время всплывали какие-то новые обстоятельства. Люди стали разговаривать, в том числе и сотрудники, которые причастны к делу. Я переписывался с руководством КГБ, их ответы были абсолютно неудовлетворительны, но в них стали появляться некие уклончиво-извинительные интонации.

В конце концов примерно через десять лет после всех описанных событий Комиссия по реабилитации, которая была создана еще при Верховном Совете СССР, признала меня жертвой политических репрессий, и я был реабилитирован. На переписку, связанную с реабилитацией моей жены, ушло еще приблизительно десять лет. В самом конце 90-х годов она также была признана жертвой политических репрессий и реабилитирована. Всем абсолютно очевидно, что против меня было совершено преступление, но виновные никакой ответственности не понесли.

В начале 90-х годов Юра Щекочихин смог помочь мне в извлечении из недр аппарата документов с грифами «секретно», «совершенно секретно» и так далее – переписки комитетчиков по поводу моего дела. Я узнал, что меня поначалу хотели привлечь к ответственности за шпионаж, потом за измену родине, но потом переквалифицировали на хранение наркотиков. Я узнал, что телефон у меня прослушивался, что в мое отсутствие производился тайный обыск. В «Литературной газете» появилась уже вторая статья Юры Ще-

кочихина, «Ряженные». На основании документов, попавших нам в руки, он описал весь механизм провокации, назвал фамилии сотрудников, которые этим занимались. Самый главный вопрос – а почему, собственно, все это было затеяно? Если бы нечто подобное устроили с каким-нибудь видным диссидентом, чтобы скомпрометировать кого-то из деятелей движения тем, что у него наркотики, валюта или малолетние девушки, это было бы понятно. Но зачем они пришли ко мне? Этот вопрос я многократно слышал и сам пытался найти на него ответ. Я не могу сказать, что они пришли по какой-то конкретной причине. Причина, видимо, заложена в общей ситуации того времени. В ситуации 70-х годов было уже не до того, что мы называем массовым террором, но КГБ вел борьбу с определенным кругом людей в Москве, в Ленинграде, других городах. Время от времени выхватывались отдельные люди.

О происходящем как могли рассказывали миру академик Сахаров, Хельсинкская группа. Выходила «Хроника текущих событий». Процессы получали некую огласку, но это все равно были единичные случаи. Они участились в Ленинграде в конце 70-х – начале 80-х годов. Тогда же, в 80-м году, были крупные неприятности у ленинградского поэта Льва Друскина, которого явно хотели арестовать и покарать. Его дом был своего рода салоном, в котором все встречались. Там действительно шел обмен информацией, литературой. Но поскольку Лева был тяжелым инвалидом, то была про-

явлена гуманность, он был выслан и остаток жизни провел в Западной Германии. Через несколько месяцев после моего ареста был арестован другой ленинградец, Арсений Рогинский, против него сфабриковали дело. Еще через несколько лет был арестован ленинградский филолог Михаил Мейлах. Я привожу только несколько примеров, в действительности их было больше. Произошел разгром литературного «Клуба-81», женской феминистской группы, которая выпускала в Ленинграде самиздатский журнал «Мария».

Мне трудно сказать, что именно привлекло внимание Комитета к моей персоне, трудно оценить себя объективно. Я не был членом партии, но многие не были членами партии. Я встречался с иностранцами, но это были исключительно мои коллеги, в основном слависты, которые приезжали на стажировку в Советский Союз, были приписаны к университету или Академии наук. Конечно, настроения, которые мной с годами все более и более овладевали, можно было при желании назвать антисоветскими, но точно такие же настроения владели почти всей интеллигенцией в 70-е годы. Все слушали радио, все тянулись к запрещенной литературе. Настроение недовольства жизнью, основанной на лжи, которую обличал Солженицын, в той или иной степени владело огромным количеством людей. Удар такой силы, который был нанесен по мне и по моей семье, совершенно несоразмерен нашему сопротивлению. Моральному, не организационному.

К сожалению, многие проблемы, в которых мы до сих пор кувыркаемся и еще долго из них не вылезем, заключаются именно в том, что наша страна так и не отмежевалась от преступлений прошлого, от того государства, в котором такие преступления были возможны и даже стали заурядным явлением. В моем случае справедливость восторжествовала: мы признаны жертвами политических репрессий. Но она не восторжествовала полностью, потому что преступление так и не названо преступлением.

Благодаря бумагам, которые оказались у Юры Щекочихина, удалось понять, откуда на полке взялся наркотик. Его подложил не сотрудник милиции и не сотрудник КГБ. Они всегда предпочитали работать чужими руками. Это сделал один из знакомых, который накануне заходил ко мне ненадолго под вымышленным предлогом – принес журнал на немецком, чтобы я что-то ему перевел. В какой-то момент он попросил попить, и когда я вышел на кухню налить ему стакан воды из-под крана, он сунул пакетик с анашой за книги. Его уже нет в живых, и я не хочу называть его фамилию. В конце концов, я думаю, что и он тоже жертва. Люди, которых они вербовали и заставляли что-то делать, – жертвы даже в большей степени, чем преступники. Жена им понадобилась, как я понимаю, для того, что бы построить эту конструкцию. Тут еще и женщина, отношения не зарегистрированы, у нее наркотики, у него наркотики. Если я хотя бы в какой-то степени действительно был причастен – чтение лите-

ратуры, контакты с «капиталистическим Западом», то она была довольно далека от всего этого. Абсолютно ни в чем не повинного человека принесли в жертву, чтобы устроить провокацию. Так работала эта система. Чтобы оценить это, нужно всегда помнить не о двух людях, а о ста миллионах человек, которых точно так же принесли в жертву этому Левиафану под названием Советская Система.

Людмила Алексеева



Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950-м окончила истфак МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1956-м аспирантуру Московского экономико-статистического института. Работала учителем истории в ремесленном училище. 5 декабря 1965-го участвовала в демонстрации на Пушкинской площади в Москве. В 1968 году ее исключили из партии и уволили с работы за письма в защиту политических заключенных. Принимала участие в подготовке и выпуске самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий». В 1976-м стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы. В начале 1977 года эмигрировала в США. В 1994 году ей вернули российское гражданство, и Алексеева вернулась в Москву, где в 1996-м стала председателем Московской Хельсинкской группы.

Я из очень советской семьи. Мой отец 1905 года рождения, мать – 1906-го: во время Гражданской войны они были маленькими детьми, оба из очень бедных семей и совершен-

но естественно приняли сторону красных, оба стали комсомольцами, потом членами партии. У меня никто не был репрессирован в 30-е годы. В 1941 году, когда началась война, отца призвали в армию. Я в это время была в Крыму и вернулась, когда Москву уже бомбили. Перед отправкой из Москвы отец отпросился попрощаться со мной. Тогда я его видела в последний раз, он не вернулся с фронта. И он мне сказал: «Дочурка, я иду защищать советскую власть». Вот так: не Родину, не семью, а именно советскую власть. Мне потом на допросах говорили: «Мы понимаем, у таких-то родители были репрессированы, их с работы выгоняли. А вы чего? Вам-то что советская власть сделала?» Мне лично – ничего плохого.

Я пережила войну уже в таком возрасте, когда все понимала, – 20 июля 1941-го мне исполнилось четырнадцать лет. Такое экстремальное время, конечно, запоминаешь. Все знали, что на фронте делается, каким был первый год войны и сколько людей погибло. Сколько бы ни писали «Гром победы, раздавайся!». Кроме того, четыре года вся промышленность работала на войну. Для людей ничего не производилось и ниоткуда не привозилось. И до войны жили скудно, а тут и вовсе: не выживешь – помрешь. И не роптали, и делали больше, чем могли, чтобы была победа. Это было, безусловно, общее настроение: победа необходима. И мы очень гордились, было чем гордиться. В июле 1945-го мне исполнилось восемнадцать лет, кончилась школа, начался универ-

ситет, взрослая жизнь.

Для нас все были героями – не только те, кто был на фронте, но и те, кто работал, кто не вынес, кто умер и кто остался жив. А с ними, с нами со всеми обращались не как с героями, выигравшими войну, а как с быдлом. Причем с быдлом под подозрением: просто в землю втоптывали. Время было тяжелое, полстраны разрушено, люди снова напрягались изо всех сил, а относились к ним как к скотам и без вины виноватым. Я четыре года была в университете – как комсомольское собрание, так обязательно кого-то исключают из комсомола, а это значит, что и из университета тоже. То он, видите ли, на майской демонстрации не принес транспарант: «А где ты его оставил?» Хорошо, кусок фанеры, вычти из стипендии, но нет – проработка на собрании, ломают человеку жизнь. Потом космополитическая кампания – евреи их не устроили. Это все было так несправедливо, так за людей обидно.

И ложь, кругом ужасная ложь. Я помню, дядя мой прочел в газете заголовок «Жить стало еще лучше» и озадачился: «Почему „еще“?!» Идешь в кино, там «Кубанские казаки»: столы ломаются, они в шелковых рубашках хлеб убирают. Приезжаешь в деревню... Я помню, мы в деревне под Каширой снимали часть избы у женщины с двумя дочерьми. Они ходили босые от мая до сентября включительно. Ботинки одни на троих берегли: если одна дочка ходит в школу, другая сидит дома. А в газетах читаешь: «Колхозы расцветают».

Наших людей я очень полюбила и очень ими гордилась, и до сих пор горжусь. Они вынесли такие испытания с таким достоинством, и после этого их вот так отблагодарили! И, наверное, советское воспитание советским воспитанием, но все мы выросли на великой русской литературе, а она вся построена на сочувствии маленькому, но честному человеку, которого безжалостно подавляет, мучает равнодушное к нему, огромное, непреодолимое для него государство.

В 1953 году я окончила исторический факультет как археолог. Меня послали отрабатывать по распределению учительницей в ремесленное училище на три года. Если рассказать, как мы жили, то по нынешним меркам мы были бы сущие бедняки, но по сравнению с крестьянами мы хотя бы были сыты и ходили в целых ботинках. А у них и этого не было, хотя они очень тяжело работали. Тогда я подумала: «Пойду в аспирантуру и за это время прочту всего Ленина от корки до корки. Может, я тогда что-нибудь пойму». Я поступила в аспирантуру на кафедру истории партии, чтобы понять, что у нас произошло с крестьянами. Про меня говорили: «А вот Люда, она всего Ленина прочла». Я была какой-то уникам, потому что ни у кого не хватало терпения одолеть все эти 30 томов¹. И как раз моя аспирантура кончилась к 1956 году, к докладу Хрущева. Хотя к этому времени я уже и безо всякого доклада была готовая антисовет-

¹ В первом издании сочинений Ленина было 20 томов (26 книг), во втором и третьем – по 30 тт. – *Ред.*

чица. Я не знала о масштабах репрессий, хотя, конечно, знала, что людей арестовывают. И вообще смутно представляла, что за лагерь. Но чтение Ленина меня очень даже убедило. Я потом еще встречала людей, которые целиком прочли Ленина. Например, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Федорович Орлов. Он меня на два года старше, но попал в армию в начале войны, потом был офицером-артиллеристом. И искал то же, что и я, и пришел к тем же результатам. Мой друг Анатолий Марченко в лагере тоже всего Ленина прочел. Так что пока не было самиздата, нас делал антисоветчиками Ленин.

А я во время войны вступила в комсомол, потом в партию – все как полагается. Доклад Хрущева читали на съезде, потом его читали партактиву, а потом – всем членам партии. Нас предупредили, что записывать нельзя, рассказывать никому нельзя. Я тогда еще в аспирантуре была. И был у нас в аспирантуре такой парень, Коля Демидов, провинциал и по багажу знаний, и по культурному уровню, ему было трудно учиться. Он меня просил иногда ему помочь, и я помогала чем могла. Мы с ним вместе вышли с чтения доклада Хрущева и зашли в «стекляшку» -пельменную, и он вдруг спросил: «А ты знаешь, как я в аспирантуре оказался?» Выяснилось, что он окончил юридический и по распределению работал прокурором где-то в Подмосковье. Каждый день он несколькими людям давал срока не менее десяти лет: кто-то колоски собирал на поле, вдова какие-то нитки с заво-

да вынесла, чтобы продать и детей чем-то накормить. По десять лет! «Я, – говорит, – три года выдержал, как полагалось по распределению отработать бесплатное образование, и подал заявление на уход». Но ему сказали, что уйти нельзя: ты член партии, иначе положишь партбилет. «И я понял, – рассказывал Коля, – что я могу оттуда уйти только одним способом: в аспирантуру». И он стал готовиться и несколько лет проваливался, потому что у него не хватало ни знаний, ни культуры, чтобы поступить в Москве в аспирантуру, путь начал.

Он мне первой рассказал, до этого люди опасались друг друга. А тут как прорвало – поняли, что раз осуждают за террор, значит, не будут всех подряд сажать. Это был еще довольно суровый период, все по-прежнему очень строго по советски, сплошная цензура: ни из газет, ни из книг, ни из театра – нигде ничего не узнаешь. А люди уже рассказывали друг другу то, о чем раньше никогда не говорили. Сейчас даже трудно представить, что в сталинское время большими компаниями не собирались, разговаривали с родственниками, и то далеко не со всеми, у кого-то была еще пара-тройка друзей, которые всю жизнь знакомы. Но дальше уже нет, никакого доверия. А тут стали каждый вечер где-то собираться и рассказывать друг другу: у кого родителей посадили, кто на фронте пострадал. У каждого был свой пусть маленький, но трагический опыт, а раньше казалось: «Может, это только со мною?» Теперь это множилось на опыт жизни других

людей и на их размышления.

До 1956 года у меня и о себе представление было такое: «Почему все думают, говорят и живут нормально, а мне не нравится? Не может же быть, чтобы я была умнее всех? Значит, они правы, а я не права». Нас еще так воспитывали, что я считала, что коллектив всегда прав. Комплексы были жуткие. А когда стали в компании сбиваться, оказалось, ничего подобного, я не чудачка, я нормальный человек, таких немало. А вот те, кто мне это все в голову вбивает, они-то и есть нравственные уроды.

Так постепенно в этих компаниях и зародилось диссидентство. Сегодня идешь в одну компанию, а там: «Ой, слушай, а вот у нас завтра собираются, пойди туда, там такие интересные люди...» Эти компании все переплетались, появлялось очень много знакомых. Так я познакомилась с Юлием Даниэлем, и мы подружились. И я, конечно, знала, что он и его друг Андрей Синявский с 1956 года передавали свои произведения на Запад под псевдонимами. Юлик был Николай Аржак, а Андрей – Абрам Терц. Когда их арестовали, то, естественно, их друзья очень бурно переживали. Каждый раз, когда кого-то из друзей вызывали на допрос, мы собирались и ждали, когда они придут и расскажут, что там было. Иногда просачивались сведения о том, колются или держатся, как здоровье, что говорят, в каких условиях. Мы ведь ничего этого себе не представляли. А кроме того, каждый из нас понимал, что и его самого могут вызвать. Важно бы-

ло знать, какие были вопросы, как ответить, чтобы и людей не подвести, и себя в тяжелые условия не поставить.

В октябре 1964 года скинули Хрущева, стал Брежнев, новая власть утвердилась и поняла, что самиздат гуляет по стране. Я специально ради самиздата выучилась на машинке печатать, и я была далеко не одна. Они решили прихлопнуть самиздат. И процесс Синявского – Даниэля хотели сделать показательным. Поэтому была статья в «Литературной газете», которая называлась «Перевертыши», о том, что они как бы выглядели советскими людьми, а на самом деле публиковались за границей. Готовили общественное мнение, как в сталинское время, чтобы кричали «Собаке собачья смерть!». Но получили другую реакцию. Все-таки уже прошло двенадцать лет со смерти Сталина и девять с XX съезда. Люди уже иначе смотрели на эту власть, особенно интеллигенция в Москве и Ленинграде, в Академгородке в Новосибирске. И вместо того чтобы осуждать этих писателей, очень многие интересовались, что же они такое написали.

А когда прочли, начали писать письма о том, что никакие они не «перевертыши», просто в СССР нельзя публиковать нормальную литературу, они с любовью и точно описывают людей, которые живут в нашей стране. И кто-то слушал по радио «Свобода», кто-то читал в самиздате, стали не только письма писать, но и приходиться к женам Синявского и Даниэля, спрашивать, чем помочь. А были и друзья, которые, наоборот, испугались подписывать. Круг тогда очень сильно

переменился. Я свою жизнь делила на период до Юликова ареста и после Юликова ареста. Это и было зарождение правозащитного движения.

Когда Алик Вольпин решил устроить первый митинг в защиту Синявского и Даниэля 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади, я пришла в большой ужас. Во-первых, с детства и до сих пор не люблю митинги и демонстрации. А во-вторых, в советское время никто на неразрешенные демонстрации не ходил. Что им будет? Их арестуют или их расстреляют? Никто не знал, что будет делать эта новая власть. Но каждый из нас знал, что мы живем не по законам.

Мы с подругой долго уговаривали Алика не ходить на эту демонстрацию. Он нам объяснил, что не может не пойти, потому что сам позвал туда людей, как же это так – они придут, а он нет? Но нам как быть? С одной стороны, я не хочу и не могу идти на демонстрацию. А с другой – Алик пойдет, а я нет? Невозможно. Мы решили идти на эту площадь, но в демонстрации не участвовать. Не могли дома сидеть, надо было хотя бы узнать, что с ними будет. Когда мы пришли, обнаружили, что собрались участвовать вместе с Аликом примерно человек двадцать. Один был с лыжами, мы думали, что с лыжной прогулки приехал, а он потом объяснил, что взял с собой лыжи, чтобы в случае чего, когда его арестуют, сказать: «Да я мимо ж шел, вы что?» Их было двадцать, а таких, как я, кто не смог дома усидеть, было на площади человек двести – все наши знакомые. Каждый свой по-

рог переступал.

А потом этот молчаливый митинг в 6 часов 5 декабря стал ежегодным: приходят двадцать человек, снимают шапки в знак траура по нашей Конституции, постоят и уходят. Кагэбэшники вокруг стоят, но никого не трогают. А в тот год, когда Сахаров собирался прийти на эту демонстрацию, накануне по Би-би-си передали, что она состоится. Мы этого не знали, и я шла, думая, что будет, как всегда, человек двадцать – двадцать пять, постоят пять минут и разойдутся. Мы выходим из метро – весь бульвар забит, пришлось продираться. А вокруг памятника стоят солдаты внутренних войск в шинелях с красными погонами, но на расстоянии друг от друга, так что между ними можно пройти. Я встала рядом с генералом Петром Григоренко, а он уже давно грузчиком работал и был без часов. Попросил меня сказать, когда будет шесть, чтобы снять шапку. Я вижу, что все забито, и думаю: «Это столько гэбэшников нагнали, что ли?» А в шесть часов мы видим, что больше половины сняли шапки. Люди услышали по Би-би-си и пришли. Тут наш генерал не выдержал и, хотя это всегда были молчаливые митинги, своим зычным голосом сказал: «Спасибо вам, что вы пришли поддержать нас, наших политзэков». Солдаты стояли, им не было команды нас хватать. Мы спокойно ушли. А вот Сахаров так и не пришел, потому что он и еще несколько человек шли со стороны кинотеатра, их окружили гэбэшники и не выпускали из круга, они не смогли пройти.

Когда арестовали Алика Гинзбурга, который создал «Белую книгу» (все документы, связанные с процессом Даниэля и Синявского), и еще трех самиздатчиков, у нас уже был обычай посещать жен и родителей арестованных. Мы обязательно приходили с цветами, с чем-нибудь вкусненьким, чтобы отметить вместе с их родными их день рождения. И вот в очередной раз мы были у Людмилы Ильиничны, мамы Алика, и кто-то сказал: «Наше движение». Я говорю: «Какое движение? Мы – просто круг друзей, у наших друзей несчастье, мы себя ведем соответственно». А потом я думала над этим и поняла, что, пожалуй, мы уже правда движение. Уже есть и люди из других городов, и люди, которых мы не знаем, а они приходят, потому что они с нами думают одинаково и хотят что-то делать, помочь.

И в апреле 1968 года мы издали первый выпуск «Хроники текущих событий». Это уже был информационный бюллетень сложившегося правозащитного движения. К тому времени информации у нас накопилось столько, что просто передавать ее друг другу в компании было уже недостаточно, надо было ее собирать и распространять. Я очень горжусь, что печатала первую закладку «Хроники». Мне приносили от редактора стопку, частично от руки написанную, склеенные или скрепочками сцепленные листы. Я все это перепечатывала аккуратно, а потом с этих экземпляров «Хроника» расходилась по стране.

Когда в 1974 году арестовали Якира и Красина, они да-

ли показания на двести человек, что люди читали «Хронику» или передавали материалы. Обыски шли по всей стране, и экземпляры «Хроники» находили от Калининграда до Владивостока. Это единственный в российской истории такой опыт, потому что, скажем, герценовский «Колокол» и «Полярная звезда» все-таки в Англии печатались, их пересылали, а мы-то это в Москве делали. И сыск был не такой, как во времена Герцена, а покруче. С регулярностью примерно раз в два года арестовывали редакторов «Хроники», но подхватывали другие люди. С 30 апреля 1968 года вышло 64 выпуска. Последний в 1984 году. Только один раз «Хроника» на полтора года прервалась, но не потому, что нас запугали или мы ленились, а потому что мы были поставлены в невероятное положение.

Якир сидел в «Лефортове». Его дочке Ире позвонили и сказали, что у нее будет свидание с отцом. Она, конечно, прибежала, и он ей сказал: «Я понял, что „Хроника“ – это дело нехорошее, прошу вас прекратить ее выпускать. И еще я хочу сообщить, что если будет продолжать выходить „Хроника“, то за каждый выпуск кого-то будут арестовывать – не обязательно того, кто готовил „Хронику“, кого-нибудь из вас». Это ситуация заложничества.

Их, бедных, сломили. Якир и Красин были старые зэки, со сталинских времен, у них страх в подкорке сидел. Им вообще не надо было этим заниматься, но очень хотелось. Они боялись, из-за этого их и взяли, из-за этого и вынудили к по-

казаниям.

Мы собрались на квартире у Якира. Ирочка рассказывала о том, что отец сказал ей на свидании. Мы понимали, что квартира прослушивается. Кто-то говорил, что нельзя поддаваться на провокации. А ему возражали, что, мол, ты будешь геройствовать и «не поддаваться», выпускать «Хронику», а посадят не тебя, а какого-нибудь Васю. Мы орали, спорили несколько часов, ушли с квадратными головами, ни до чего не договорившись. Я лично была в полной растерянности.

И вот мы полтора года решали эту проблему. А потом три замечательных человека – Сережа Ковалев и две Тани, Великанова и Ходорович, сказали: «Мы берем на себя выпуск „Хроники“ и ответственность за него». Они сказали это публично, собрав на квартире Сахарова иностранных журналистов. «Хроника» возобновилась. Причем было решено, что те, кто раньше был связан с «Хроникой» и засветился, не должны участвовать в ее издании, потому что их всех пересажают.

Мне Лариса Богораз сообщила о возобновлении «Хроники» и тут же сказала, что я теперь не могу ее выпускать. Я так ревела! Мы с ней шли ко мне домой из метро, она нарочно рассказывала на улице: дома все могло прослушиваться. Я шла и плакала: «Она будет выходить, а вы мне не доверяете печатать!» На нас оборачивались: чего женщина так плачет? И потом Лариса поговорила с другими, и мне разреши-

ли. «Хроники» к этому времени стали очень толстые, а среди нас было не так много людей, которые печатали не одним пальцем, а я умела как профессиональная машинистка. Так я выплакала себе право дальше участвовать в выпуске «Хроники».

Маленькое диссидентское сообщество выживало благодаря тому, что очень многие нам сочувствовали – сами не участвовали, но помогали чем могли. Я полтора года была без работы, и одновременно мужа выгнали, нам было очень трудно. Но и знакомые, и незнакомые передавали нам какую-нибудь работу – машинописную или рецензию какую-нибудь написать, которую кто-то подавал от своего имени, а деньги передавал мне. Благодаря этому выживали и собирали деньги на заключенных. У меня дома стояла машинка, потому что это был мой заработок после того, как с работы выгнали, но я купила в комиссионном другую машинку, «Ундервуд» конца XIX века. Весила она, по-моему, пуд. Я ее таскала в большой сумке, сверху закрыв пеленочкой, но домой никогда не приносила. На ней я печатала у таких знакомых, к которым точно не придут, спрашивала: «Можно я у вас попечатаю?» Но ведь всего за день не напечатаешь, значит, я оставляла у них, чтобы завтра допечатать. И некоторые хотя и разрешали, но через несколько дней я чувствовала, что они плохо спят, живут в напряжении: вдруг придут, а там такая крамола. Приходилось менять места, тащить этот «Ундервуд» еще на три-четыре дня в другую квартиру.

Мы существовали благодаря широкому кругу поддержки – людям, которые думали как мы, но не заявляли об этом публично.

И когда случилось предательство, когда Якира и Красина сломали, Валера Чалидзе очень правильно сказал: «Мы должны винить не тех, кого сломали, а тех, кто ломает». И это правильно, потому что не все рождаются героями, а нельзя человека толкать на героизм. Кто-то может выдержать, а кто-то не может. В околодиссидентской среде у многих были комплексы, что «вот они могут, а я все-таки осторожничаю». И после случая с Красиным и Якиром было в нас очень большое разочарование, и мы сразу остались одни. Про нас стали плохо говорить, меньше поддерживать. Мы-то сами, наоборот, друг к другу прижались. Но когда «Хроника» начала выходить снова, этот кризис прошел.

Дети – это была проблема. У меня двое сыновей. Причем незадолго до того, как началась вся эта моя диссидентская часть жизни, я разошлась с мужем, их отцом, и говорила ему: «Ты не беспокойся, я буду им и мама и папа, они будут учиться, у них все будет». Я так и старалась. Когда я подписала первое письмо, то, конечно, думала, что не смогу сдержать обещание, если меня выгонят с работы. Но человек так устроен, что когда ему чего-нибудь хочется, то он всегда найдет себе объяснение, почему надо делать именно так, как ему хочется. Я придумала очень хорошее объяснение, целую ночь думала: мои дети состоят не только из желудка,

у них еще есть душа, и, наверное, важно не только чтобы я их кормила, одевала, но чтобы они видели, что их мать живет по совести. А если так, надо подписывать письмо. А потом я уже подписывала без особых колебаний и размышлений.

У детей действительно были неприятности. Во-первых, потому что меня и моего нового мужа выгнали с работы, и у нас было два мясных дня в неделю, а остальное так – макарончики. А они здоровые лбы, их макарончиками-то не особенно прокормишь. Во-вторых, я ходила в чем попало, но я сделала выбор, а младший сын, конечно, страдал, что даже школьная форма у него перешитая. Но я была права, у детей действительно не только желудок. Ни одного упрека я никогда от них не слышала. Хотя из-за меня и младшего в аспирантуру не приняли, и старшего три раза с работы выгоняли. Но когда я их, уже взрослых, спросила: «Ребята, мне вы не говорили, понятно. Вы меня любите, не хотели огорчать. Но между собой не говорили всякого?» Они сказали: «Мать, ты что? Ты у нас молодец! Нам нравилось, что у нас такая мама». А муж, когда началась Хельсинкская группа, где я была и машинистка, и редактор, и организатор, и все на свете, любил говорить так: «Сказать, что у нас в доме контора Московской Хельсинкской группы, будет неправильно. Надо говорить, что мы живем в конторе Хельсинкской группы». И это была чистая правда, потому что все время люди приходят, кто-то что-то печатает... «У тебя пресс-конференция? Ну ладно, я на кухне поем».

Квартира прослушивалась круглосуточно. Мы друг другу писали, если что-нибудь важное, а не говорили вслух. Особенно противно, когда обыски. Они вроде ставили все на место аккуратно, не сильно ворошили, но как аккуратно ни делай, все равно немножко не так фотография стоит, книжка не там, стул не там и так далее. И после каждого обыска было чувство изнасилования. Если бы можно было, я бы меняла квартиры после обыска. Но я просто устраивала генеральную уборку.

У моего мужа, который отсидел пять лет в сталинских лагерях по политической статье, была такая идея фикс, что лагерь – не место для женщины. Он мне это твердил целыми днями. Начал в 1974 году, когда меня по «Хронике» вызывали на допросы и сделали предупреждение, что на меня заведено дело по 70-й статье – это семь лет лагеря и пять лет ссылки, если я не прекращу свою деятельность. Вначале я боялась, что арестуют, а потом уже многих моих друзей арестовывали, они отбывали срок, мы им писали, посылали посылки, они выходили, их не пускали в Москву, но они жили дальше. А если ваши друзья сидят по тюрьмам, то вам не кажется странным, что и вы там окажетесь. Человек привыкает к этой мысли. Я была здоровая женщина, в работе ловкая, поэтому я думала: «Да буду я им шить эти их рукавицы, нормы выполнять, все будет в порядке, отбуду свое, ну не пускают в Москву – так и в другом месте жить можно».

Но дети и муж оказывались как бы заложниками моего

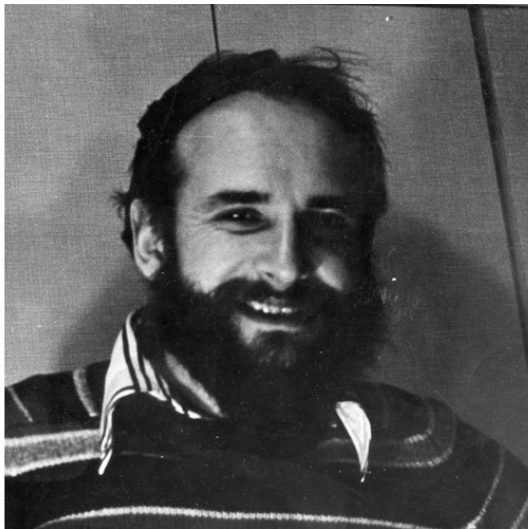
образа жизни. Был такой эпизод. Из Грузии привезли откопированный целым тиражом «Архипелаг ГУЛАГ». На черном рынке его продавали очень дорого, а тут предложили по очень низкой цене. Я попросила сто экземпляров. И надо было эти сто экземпляров из одного места перенести в другое. Я не могу поднять сто экземпляров «Архипелага ГУЛАГ». Звоню домой: «Берите все сумки, какие в доме есть, приезжайте сюда». Муж тащит две сумки, сын тащит две сумки и я две сумки. А если нас в это время задерживают? Сажусь не только я, садятся они. А они садятся только за то, что маме или жене трудно таскать тяжести. Если б не я, они бы не стали переносить «Архипелаг ГУЛАГ». Я понимала, что кончится тем, что посадят мужа и сына, и я буду им возить передачи. А мне что, вешаться тогда? И сын говорит: «Я хочу наукой заниматься, а не сидеть всю жизнь в этом замшелом НИИ, в котором нечего делать». Ведь никто же не думал, что Советский Союз возьмет и рухнет и все переменится.

Я подумала, что я пожила так, как мне хочется. А теперь пусть они поживут, как им хочется. Значит, надо уехать. А ведь тогда казалось, что уезжаем навсегда. Здесь мать остается, старший сын, все друзья, весь смысл жизни. Мне пятьдесят лет, языка не знаю, диплом мой там не признается. Мне казалось, что я себя просто хороню заживо. В 1977-м мы уехали. И все оказалось совсем не так страшно. Мой социальный статус даже повысился. Здесь я была редакто-

ром, а там я написала книгу «Инакомыслие в СССР в новейший период», которую и в американских, и в британских, и в российских вузах до сих пор используют как учебник по истории независимых общественных движений в СССР. Я же все-таки историк по образованию. Там существовал архив самиздата на радио «Свобода», а здесь где бы я взяла столько материалов для книги? Я стала выступать на радио «Свобода» и «Голосе Америки». Для меня это было немыслимое счастье: пусть хотя бы голос мой летит в мою страну, если я сама не могу.

Военные годы, которые я пережила, определили всю мою жизнь. У Маяковского в поэме «Хорошо» есть строчки: «Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеса. Но землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя». Я тринадцать лет жила в Америке. Мне сын один раз сказал: «Мам, про Америку не давай нам советов. Ты как эти годы живешь? Ты ж все время как та избушка – к Америке задом, туда передом». И он был прав. Америка – прекрасная страна, там чудные люди, замечательные. Но я хочу жить здесь. В моей стране люди заслуживают, чтобы жить по-человечески.

Вячеслав Бахмин



Вячеслав Иванович Бахмин родился 25 сентября 1947 года. Был студентом Московского физико-технического института, когда его арестовали за то, что он вместе с Ириной Каплун собирался распространять антисталинские листовки. Был помилован Указом Президиума Верховного Совета СССР. В 1974 году закончил заочное отделение МЭСИ и работал программистом. 5 января 1977 года стал одним из учредителей Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях при Московской Хельсинкской группе. 12 февраля 1980-го снова арестован и приговорен к трем годам лагерей за изготовление и распространение антисоветской литературы. Незадолго до освобождения (Томск) в лагере получает новый срок, «за антисоветские разговоры». На свободу вышел лишь в феврале 1984-го, жил в Калининe. В 1988 году вернулся в Москву, работал программистом. С 1989 года – член возрожденной Московской Хельсинкской группы, а также Российско-американской проектной группы по правам человека. После августа 1991 года работал в МИДе. В 1993–2002 годах – член Комиссии по правам.

Мне повезло. Сложись жизнь иначе, я мог стать кем угодно, вплоть до кагэбэшника. Сказали бы мне: Родина зовет, и кто знает, пошел бы. В школе я был примерным пионером

и комсомольцем. Советский Союз самая лучшая страна, дети здесь максимально счастливы и вообще все хорошо. Когда я стал учиться в физико-математическом интернате, знаменитом колмогоровском, то впервые столкнулся с самиздатом, который так еще не называли, прочел машинописные записи суда над Бродским. Но я во все это не поверил. Потому что – ну не может советский суд так себя вести.

Но что мне помогало? Во-первых, критическое мышление и установка любого физика и математика: все исследовать и разобраться, почему и как. А во-вторых, люди, которым я доверял. Скажем, в интернате преподавал Юлий Ким. Не в моем классе. Но однажды он заменял учителя обществоведения и рассказывал о работе Ленина «Государство и революция». Так увлекательно рассказывал, что меня стала интересовать политика. А как это все произошло в стране? Что было в начале двадцатых, тридцатых годов? Как революция произошла? Я стал читать, думать...

А потом случился Физтех, где была довольно либеральная обстановка. Я записался в самодеятельный театр, который вел Юра Костоглотов. Он ставил с нами пьесу по своему сценарию – «Убили поэму»: история поэзии от Серебряного века до советских времен. Я впервые узнал о травле Ахматовой и Зощенко, о муках Шостаковича; среди действующих лиц был цензор в шинели, который все запрещал, – символ государства. И весь год, пока спектакль готовился, у меня происходила ломка мировоззрения. Я все время удивлялся

и возражал, что такого не могло быть.

А после первого показа мы устроили дискуссию, такую бурную и смелую, что после второго спектакля профком его запретил. Одним из ее участников был студент Анатолий Щаранский, который говорил шоковые для меня вещи. Шоковые – несмотря на то, что я уже понимал, что скорее всего именно так и было. Потом через Юлика Кима я познакомился с его женой Ирой Якир. А через Иру я стал вхож в дом Петра Ионовича Якира. И постепенно, в течение второго-третьего курсов, перепознакомился фактически со всем диссидентским кругом. Пережил события в Чехословакии; многие у нас стали учить чешский, делали вырезки из «Руде право», вешали на стенды; это цементировало мое болезненно меняющееся мировоззрение. Двадцать первого августа мы как раз вернулись из студенческого отряда, где вечерами, после строительства коровника, слушали «Голос Америки» и спорили о коммунизме с человеческим лицом. И тут – ввод танков. Мы с друзьями ходили по Москве и думали, думали. Видели, как люди толпились у стендов, читали сообщение ТАСС. И хотелось что-то делать. Присоединиться к какой-нибудь демонстрации. Поехали к чешскому посольству. А там была тишина – и никого. Только милицейские машины дежурили. Только потом я узнал, что 25 августа была демонстрация на Красной площади...

Суд над демонстрантами проходил на Серебрянической набережной, район Таганки. Я провел все три дня у этого

суда – в зал, конечно, никого не пускали. Подходили пьяные какие-то люди, говорили: вы тут против советской власти, вы шпионы, провокаторы, вашей Чехословакии так и надо, на следующий день американцы б ввели, если б мы не ввели. И там я познакомился с генералом Григоренко и таким непростым образом окончательно погрузился в круг, из которого потом уже было не вынырнуть. Потому что любая репрессия по отношению к человеку из этого круга еще больше нацеливает тебя на участие в общем деле защиты. Это давало ощущение выхода из одиночества. Ты не один. Нас все-таки много. Сколько именно – не так уж важно. У нас же не было задачи совершить революцию, где число играет роль. Была задача остаться самими собой, что особенно важно для учебного.

Я стал регулярно читать «Хронику». Иногда кое-что писал для нее. У меня скопилось довольно много всякой подпольной литературы, книг, за которые сажали сразу, – Авторханов, Джилас. Я потихоньку давал эти книги (переснятые фотоаппаратом) своим ребятам в Физтехе. Было несколько эпизодов, когда меня чуть не замели с этими книгами. Однажды я просто оставил пачку фото с книгой Джиласа в столовой. Потом пришел, они рассыпанные лежат на столе... А после третьего курса я поехал на каникулы в родной Калинин, ныне Тверь. Оставил друзьям почитать Авторханова, а осенью узнал, что одного из них вызывали в КГБ. И я понял, что дело пахнет керосином, надо от запре-

щенной литературы как-то избавляться. В два часа ночи мы встретились с другим моим приятелем на центральной площади Калинина, я передал ему чемодан с самиздатом, а рано утром просыпаюсь от звонка в дверь. Два молодых человека стоят, говорят: вот, мы из КГБ. Не могли бы вы с нами проехать? В управлении КГБ Калининской области я просидел часов шесть. Спрашивали про Авторханова; стало ясно, что друг меня сдал. Пришлось признаться, что да – давал. «Откуда взяли?» – «Сейчас не помню». И они стали в ответ подсказывать: у Якира? Или есть такой Ким Юлий? Или у Ирины? Они вызвали моего отца, который ничего не ведал ни сном ни духом. Вообще мои родители простые рабочие. Мама бензозаправщицей работала в автоколонне, отец был мастером на комбинате. Он перепугался жутко, никак не мог понять, в чем дело. Его оставили со мной наедине, чтоб он меня уговорил. А у меня в карманах еще были какие-то листовки против ареста Гинзбурга и Галанскова, я ему их передал и попросил: унеси, выброси...

В конце концов отвезли меня опять на квартиру. Стали искать. Но чемодан-то я уже отвез! Правда, сверху лежал список всего, что у меня в чемодане было. Я ж человек аккуратный, все записал. Как я умудрился этот список стащить, а потом разорвать и, видимо, спустить в туалет, сейчас уже не помню. Так что взяли только какой-то литературный самиздат, стихи перепечатанные – Цветаевой, Ахматовой.

Но когда я приехал в Москву и явился в Физтех, стало яс-

но, что мне тут не учиться. Физтех ведь режимный вуз. Все студенты имели так называемый второй допуск. Ну я и перестал ходить на занятия. Потому что никакого смысла, все равно же выгонят. Правда, шел месяц за месяцем, уже сессия приближалась, и я стал тревожиться: вдруг меня решили оставить, а я ничего не знаю и экзамены не сдам. Поэтому когда меня 30 ноября 1969 года арестовали, я даже испытал облегчение.

Предшествовало этому вот что. В конце ноября я съездил в Харьков на суд над Генрихом Алтуняном. Леня Плющ там тоже был и другие друзья. Входим – зал весь забит людьми, которые все как один читают газету «Советский спорт» и обсуждают, как кто сыграл в футбол.

Ну просто ребят попросили посидеть. В общем, мне удалось остаться в зале, а моих друзей отправили на улицу. И я записывал ход процесса, пока меня не вычислили. После чего мы поехали на квартиру к нашим знакомым, и я стал переписывать свои заметки, чтобы переправить в «Хронику». Тут же пришли с обыском из прокуратуры. И нас троих забрали тоже, для выяснения личности. У Лени Плюща изъяли книгу Рабиндраната Тагора «Национализм». Он им объяснял, что это издание наше, советское. То есть ничего страшного. Нас там допрашивали-допрашивали и отпустили. Мы улетели. А на следующий день арестовали хозяина квартиры.

По прилете в Москву я вместе с другими студентами стал

готовить листовки к 90-летию Сталина, которое должно было отмечаться в декабре. И в ночь на 8 ноября, когда родители одной из знакомых, Иры Каплун, уехали на дачу, мы оккупировали квартиру и всю ночь печатали листовки. На двух машинках. В перчатках, чтоб не делать отпечатков. Напечатали двести экземпляров. И чтоб листовки никуда не пропали (юбилей Сталина отмечали в декабре), я отдал их своему другу. Тому же, которому в Калининне чемодан отдавал, Володе Тишину. 30 ноября меня позвал к себе Юлик Ким и стал убеждать, что вообще это глупо. Потому что если вы сейчас листовки разбросаете, их мало кто прочтает, а вы, фактически ничего не сделав, окажетесь в тюрьме. Ну, вроде бы он меня убедил. Я пошел к метро, и тут меня остановили, сказали: Слава, давайте проедем с нами. А у меня хоть и нету листовок, но зато портфель с самиздатом; я его попытался выкинуть. Они сказали: нет-нет, держите, это ваше все.

Посадили в машину. Вижу, на Лубяночку везут. Малая Лубянка. На часах двенадцать ночи. Приводят в кабинет. В кабинете меня встречает улыбающийся, такой довольный человек средних лет. Представляется. Майор госбезопасности, следователь по особо важным делам Зайцев Илья Анатольевич. Здравствуйте, Вячеслав Иванович (а мне тогда было всего двадцать два). Я говорю: а вот за что меня задержали? И вообще, у вас есть постановление какое-то? Он отвечает: а давайте посмотрим, чего у вас там, в вашей сумке. Я возражаю: а у вас есть постановление на обыск? Он так засме-

ялся: какое постановление? Я же вас, говорит, задерживаю. Вам теперь, говорит, тюрьма – родной дом. Часов до трех они переписывали все, что у меня изъяли, потом посадили в воронок и доставили в «Лефортово».

Первая встреча в «Лефортове», она очень сильно напомнила то, что было описано Солженицыным в «Круге первом». Просто один в один. Поэтому я уже знал, как принимают. Как замки щелкают. Как ведут. Какие там камеры... На следующий день мне предъявили обвинение по 70-й статье, «Антисоветская агитация и пропаганда». В обвинении указывались эти самые листовки, которые мы не разбрасывали. И хранение антисоветской литературы с целью распространения. Что же выяснилось? Выяснилось, что мой друг, Тишинин Володя, он уже некоторое время работал на них. И тот чемодан, который я ему отнес, и те листовки, которые ему отвозил, они все уже были у них. И дело открывалось заявлением Владимира Тишинина.

Тут я должен сказать, что фактически помог его завербовать, сам того не ведая. Как раз когда я готовился поступать в Физтех, его забрали в армию. Подводный флот, Северодвинск. И я предложил: давай я тебе буду писать зашифрованные письма, чтобы они ничего не поняли, а ты бы знал, что происходит. И написал пару писем с такой зашифровальной решеткой. Представляю, как восприняты были эти письма на подводном флоте и что Володя Тишинин испытал, когда его вызвали в первый отдел. Думаю, ему сказали: а давайте

вы будете нам помогать... Потом, кстати, мы с ним встречались, уже после перестройки. Он вступил в партию Леры Новодворской, Демсоюз. И я его увидел в электричке, когда он раздавал их газеты... Когда мы с ним еще раз встретились, он мне стал рассказывать какую-то чушь о том, как ему чего-то в еду подкладывали, чтобы волю сломить.

Меня задержали первого. На следующий день по результатам обысков задержали еще двух девочек. Моя будущая жена Татьяна Хромова, которая тоже входила в этот круг, как раз за несколько дней отнесла все, что у нее было, своей подруге, поэтому у нее ничего не нашли, а то она, может быть, тоже бы села. И отдельный обыск был в общежитии на Физтехе, что произвело полный фурор. Ректор Белоцерковский рвал и метал: как могли допустить!

На допросах я занял очень простую позицию. Я делал все правильно. Я имею право написать о том, что думаю про Сталина. Пусть оно называется листовки, неважно. Потому что это никому не запрещено. Зайцев даже как-то проникся моей искренностью. И действительно, относился ко мне как к сыну. Единственное, что его смущало, так это то, что две моих подельницы были еврейки. А он был антисемит. И все время говорил: ну как ты, русский парень, мог связаться с этими девицами. От души за меня переживал: как же так, как же я мог. Он был уверен, что в Чехословакию надо было вводить войска, потому что мы отвечаем за эту страну. То же самое с евреями: антисемитизм был в нем глубо-

ко укоренен, он так видел мир. Он даже передал в камеру книжку «Осторожно, сионизм». Чтоб я проникся и понял, кто основной источник всех проблем. Что было по-своему трогательно.

Вообще же в «Лефортове» (лучшая тюрьма Советского Союза) была потрясающая библиотека. Там были собраны книги, конфискованные у врагов народа в 30-е годы. В том числе и запрещенные. А поскольку тюрьма есть тюрьма, пусть читают что хотят, они все равно уже сидят. Я там читал книги издательства «Academia». Нашел третье издание собрания сочинений Ленина под редакцией Зиновьева и Каменева, где были потрясающие комментарии. Много классики. Историю Рима. Историю Греции. Сильный университет был там.

Через десять месяцев следствие закончилось. Мне предъявили обвинительное заключение. А 24 сентября 1970 года я сижу вечером в камере, уже перед ужином, и вдруг меня выдергивают наверх: следователь вызывает. Причем ведут не на второй этаж, где обычно меня допрашивали, а на третий. А третий – это такой вип. Там сидит начальство всякое. Меня встречает Зайцев, улыбающийся, в прекрасном костюме, при галстуке. Довольный. Вводит в комнату, где сидят какие-то два мужика, мне незнакомые, в штатском. Как дела, за что сидите? Я рассказываю: мол, листовки, самиздат. «Ну, – говорит один, представившийся Соколовым (позже я узнал, что это был Бобков, заместитель Андропова, возглав-

лявший как раз 5-е управление по работе с диссидентами), — мы тоже понимаем, что Сталин многое неправильно делал. Просто методы вы выбрали какие-то странные. Вы бы написали, пришли бы к нам, мы бы вам посоветовали. Тем не менее мы понимаем, что вы ничего плохого не хотели. И КГБ СССР обратился в Верховный Совет СССР с просьбой, чтоб вышел указ о вашем помиловании. А сейчас мы получили позитивный ответ. Можете собрать вещи и идти».

Представляете, да? Правда, Зайцев сказал: в Физтехе вам не учиться, и вы должны вернуться в свой родной город, мы вам поможем устроиться на работу, поскольку несем теперь за вас ответственность. Но это же мелочи, верно? Такой же разговор произошел с Ирой Каплун, а Ольгу Иоффе освободили позже, она год просидела. Я спустился вниз, попрощался с соседом по камере, переводчиком китайского «Троецарствия» Панасюком. Мне вернули 3 рубля 67 копеек, которые изъяли при аресте. Дали справку об освобождении. Вывели за ворота, и я остался один.

25 сентября я на электричке уехал в Калинин, там меня попытались устроить на работу в институт искусственного волокна. И даже чуть ли не оформили, но я довольно быстро женился и в марте 1971 года перебрался опять в Москву. То есть свернул с того пути, на который меня явно направляли. С 1973 года работал программистом, вплоть до 1980-го. И продолжал заниматься тем, что считал нужным и правильным.

Кстати, у меня был куратор из КГБ, Булат Базарбаевич Каратаев. Иногда он присылал мне открытку с просьбой о встрече. Мы пересекались в каком-нибудь кафе. Он спрашивал, как дела, нужно ли чем-то помочь. Я обычно говорил: нет, у меня все хорошо, не надо никакой помощи. Замечательно. Я в ответ инициировал обсуждение всяких исторических, политических вопросов, что для него было очень неприятно. И в конце концов мы с ним разругались из-за фигур Троцкого и Бухарина и больше уже не виделись до следующего ареста.

Вообще до 1976-го меня особо не трогали. Ну, была пара обысков в квартире. В час ночи звонок. Я вскакиваю, за дверь Булат Базарбаевич: «Вячеслав Иванович, извините, у нас есть информация о том, что у вас хранятся какие-то незаконные документы или вещи». До шести утра все книги просмотрели, все вывернули. Забрали какие-то несколько самиздатских документов. Ушли, ничего не сказав.

А потом наступает 76-й год, это Хельсинкское соглашение и создание Московской Хельсинкской группы. Я в нее не входил, но с января 1977 года по приглашению генерала Григоренко участвовал в деятельности рабочей комиссии по использованию психиатрии в политических целях. Это действительно одна из самых страшных репрессий того времени. Я знал об этом не понаслышке – через Ольгу Иоффе; видно было, как все это на ней сказалось. Этой темой занимался Володя Буковский, Саша Подрабинек к тому времени

написал книгу «Карательная медицина», я с ним общался.

У нас сразу же начались потери. Арестовали Феликса Сереброву, формально за подделку в трудовой книжке. Почти сразу выдернули Сашу Подрабинека, за книгу. Но остальных пока не трогали, и я фактически остался за главного. Мы решили выпускать регулярный бюллетень. Причем делали все открыто, гласно: печатали на обложке список членов рабочей комиссии с адресами, с телефонами. И старались писать очень объективно, без эмоций, как это делала «Хроника». Потом у нас появились независимые психиатры, чьи имена мы не разглашали. И тут уже за нами началась слежка. Машины черные менялись, в квартире у меня была прослушка установлена.

В один прекрасный день, когда мы с женой были на работе, а дома оставалась только теща, ее вызвали в жэк, якобы проверить какие-то данные. Завели в комнату и закрыли дверь снаружи какой-то палкой, чтоб она не могла выйти. И на протяжении пяти часов ее там держали. Стало ясно, что у нас в квартире побывали, – и мы стали куда осторожнее. Завели специальные дощечки, на которых писали то, что не следовало произносить вслух.

В конце концов Бобков меня еще раз вызвал через Булата Базарбаевича, но был уже совсем не так приветлив. И всячески пытался объяснить мне, что я занимаюсь не своим делом. На что я ему говорил: а вы прекратите нарушать закон и злоупотреблять психиатрией. Мы долго ругались. В конце

концов он сказал: я вас в последний раз предупреждаю. Если вы не прекратите такую деятельность, то будет плохо. Вернувшись домой, я записал наш диалог и опубликовал в следующем номере бюллетеня.

А это был 1979-й уже. И началась афганская кампания. И пошли аресты. И выслали Сахарова. И Буковского поменили на Корвалана. 12 февраля 1980 года я отвез сына в музыкальную школу на автобусе. Помахал ему рукой и отправился дальше, к Ирине Гривниной, чья квартира де-факто была нашим штабом. Через полчаса звонок в дверь. С той стороны (Ирина женщина резкая, говорит: это моя квартира, я никого не пущу) заявляют: мы из милиции, нам поступила информация, что к вам в дом забрался какой-то посторонний человек. Я уговорил ее: Ир, открой. Все, бесполезно.

Три дня я провел в КПЗ. Мне сказали: задерживаем вас по подозрению в совершении преступления. И только потом огласили: 190-прим, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Когда меня сажали в машину, чтобы везти в любимое «Лефортово», я увидел краем глаза Булата Базарбаевича. В тюрьме я сразу написал заявление, что отказываюсь от дачи показаний, и в основном занимался изучением английского языка. Потому что если ты все время переживаешь случившееся, то это уже не жизнь. Жутко больно. Думаешь о жене, о ребенке. Кстати, когда во время одного из обысков стали смотреть мои книжки, сын вышел и смот-

рел с интересом. И спросил: мам, а чего они папины книжки смотрят, а мои нет? Жена ответила: ничего, вырастешь, и твои будут смотреть. И это так их разозлило. Они г ворят: вот, вы уже ребенка воспитываете в таком духе... Суд опять назначили накануне моего дня рождения.

И я скорее радовался, хотя обвинение было построено жестко. Во-первых, я давно никого не видел. Во-вторых, во мне окончательно закрепилось счастливое ощущение свободного человека в несвободной стране. Ты можешь делать то, что другие не будут делать, потому что тебе уже все равно. А в зале сидел тот народ, который кричал, в общем: мало ему, мало. Почему только три года? А я отвечал: больше нельзя, ребята, извините. Это максимум по данной статье.

Из «Лефортова» меня отправили на этап в спецвагоне. Обычно набивалось до четырнадцати человек в одном купе. А меня – одного, чтобы изолировать, посадили в полукупе. О пересидке в свердловской тюрьме с уголовниками нужен отдельный рассказ. Камера с настилами человек на сто с лишним, одно окошко, жара несусветная, несмотря на зиму, все раздеваются, какие-то мокрицы ползают... В конце концов отвезли в Асино, под Томском небольшой городок, где лагерь общего режима на две тысячи человек приблизительно. Администрация даже обрадовалась, что им достался программист, дали мне запрограммировать бухгалтерскую машину, и все было бы ничего, если б я, как идиот, не стал писать воспоминания о том, как сидел в «Лефортове». Запи-

си нашли, перевели меня на мытье посуды, сколачивать кабельные барабаны; начались провокации – подложили в мою телогрейку три рубля, и меня на пятнадцать суток отправили в карцер. Я объявил голодовку, семь дней ничего не ел. Когда ты голодный и на тебе только легкая хэбэшная курточка, холод особенно мучителен. И в карцере были трубы отопления, круглые; их обнимаешь и дремлешь, пытаешься как-то забыться.

Вообще зона была голодная – голодной зоной считается та, где хлеб после обеда на столах не остается. Все запрещено к пересылке: бульонные кубики, шоколад... Зэки придумали присылать печенье из теста с перемолотым шоколадом, а также печенье с замесом из бульонных кубиков: бросил в кипящую воду – и суп. Это та часть жизни, которой мы обычно не знаем и не сталкиваемся. Которая нужна для того, чтобы понимать и психологию человеческую, вообще очень много чего. Ребята-уголовники были с долгими сроками, а это довольно интеллигентная категория. Они работали в библиотеке. Я, естественно, сразу пошел в библиотеку, они со мной подружились, многому научили. На зоне ведь есть разные возможности – вплоть до того, что мы там радио «Свобода» иногда слушали. Они стали моими наставниками на зоне, объясняя, как надо себя вести в этой враждебной среде, где действует принцип «Умри ты сегодня, а я завтра», чтоб чего-то не случилось. Меня ведь хотели послать в камеру с опущенными. То есть меня бы тоже могли признать

таким, со всеми вытекающими последствиями.

Тем временем на Западе разворачивалась борьба – за нашу группу в целом (к 1982 году никого на свободе не осталось), за меня в частности. Кстати, у нас был друг в Америке. Молодой парень, который студентом пару раз приезжал в СССР. И вдруг я получаю открытку от Дэни из Америки, который пишет о том, что вот он недавно побывал в Италии, где нарушаются права человека. Два-три письма они пропустили, видимо обрадовались, что меня наставляют на путь истинный. Но потом он прокололся, и стало ясно из текста, что имеется в виду Советский Союз. А кум, оперативник, который, значит, эти письма читал, попросил: а можно я буду марки с ваших открыток отклеивать и себе забирать?

Приближался февраль 1983-го, когда меня должны были освободить. Я лежал в больничке; в середине января меня выписывают, но везут не на зону, а в прокуратуру. И прокурор мне объявляет, что вот на вас поступили материалы, которые говорят о том, что вы не исправились и уже на зоне распространяли заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. То есть рассказывали людям, за что вас посадили. Вообще абсолютно логично. Если рассказываешь, что ты не виноват, это есть заведомо ложные измышления.

Пошел тренд на то, чтобы давать второй срок. Валере Абрамкину дали еще три года. И меня отправили не в зону, а в тюрьму томскую, держали отдельно, повесили замок, от-

носились как к особо опасному государственному преступнику. Выводили гулять отдельно. Поэтому по тюрьме пошли слухи, что там какая-то «железная маска» сидит. А суд назначили в Асине. И свидетелями выступают заключенные. И выступает администрация. И практически все говорят, что я человек искренний, честный. И если я что-то говорю, то я так и думаю. Что абсолютно противоречит заведомой ложности измышлений. Очень уважительно обо мне отзывался замполит. В итоге мне дают один год, в три раза меньше, чем должны были дать. Прокуратура тут же пишет протест. Но Верховный суд оставляет все в силе. И меня отправляют на зону, на строгий режим, в сам Томск уже. И мне там остается сидеть десять месяцев. Или восемь. То есть уже ничего почти.

Году в 1989-м я получил письмо от судьи, который меня судил. Он писал, что понимал – я невиновен, но максимум, что мог сделать, это дать один год вместо трех. И одновременно прислал мне справку о реабилитации, которой он добился сам. Вообще мистика. Я таких случаев больше не знаю.

Но это я забегаю вперед. А летом приехали из Москвы ребятки. Кагэбэшники. Побеседовать со мной. По тому что мне дали всего-навсего год. Обидно же для них. Стали уговаривать меня, чтоб я написал письмо, в котором пообещал бы ничем таким больше не заниматься. Я уперся, они сказали: ну смотрите. И как только они уехали, ситуация сильно по-

менялась. Меня поставили на каторжную работу: на кирпичном заводе надо было залезать в сушильные камеры, которые продувались воздухом из печи, и подымать вагонки, сваливавшиеся с рельс. Причем без масок, без всего.

Я ожидал, что будет еще одно продление. А когда меня все-таки выпустили, это, конечно, был сюрприз. Поскольку я с такой статьей не имел права жить в Москве, то отправился под Калинин. В квартиру отца меня не прописали. В течение полугода нужно было ходить отмечаться. И к концу этого срока мне устроили провокацию. Я выхожу из отделения милиции, навстречу мне старичок какой-то, который вдруг падает и начинает кричать: «Хулиган! Он меня сбил с ног! Он ругается на меня матом!» При том что я матом вообще не ругаюсь. В принципе. Тут же два молодых человека подходят и говорят: что случилось? Давайте, сейчас разберемся. Меня доставляют в суд, чтоб пятнадцать суток дать, – и тогда как отмечаться? Но опять повезло. Судья упирается: для пятнадцати суток недостаточно материалов. Милиционеры злые, везут меня к прокурору. Прокурорша говорит: да вас надо было не выпускать, вы должны были всю жизнь сидеть там. Ну и в конце концов выписывают мне штраф пятьдесят рублей и еще на полгода продлевают режим.

Я думал, ну слава богу, чуть-чуть можно расслабиться. Не тут-то было; произошла еще одна провокация – пристал на улице молодой человек, стал кричать, что я у него хочу украсть шапку, потом (я уже был в отделении мили-

ции) выясняется, что у него синяк под глазом, он заявляет, что я его ударил. А это хулиганство, 206-я, часть вторая. От двух до пяти лет. С нанесением побоев. После чего калининские друзья детства организовали дежурство, провожали меня на работу. Каждый день.

Туда и обратно. Что очень злило кагэбэшников, которые говорили: чего это они тут устроили демонстрацию. Вообще, он никому не нужен.

Тем не менее состоялся через какое-то время суд. Они нашли каких-то двух свидетелей, оба учились в юридической академии, приговорили меня к трем годам и взяли под стражу прямо в зале суда. Калининская тюрьма, прямо скажем, не «Лефортово». Сначала меня посадили в камеру с рецидивистами и убийцами, потом перевели в другую. А через три недели была кассация. Но на дворе уже был 85-й год, ранний Горбачев; статью обвинения поменяли – тоже уголовную, но не хулиганство. И дали полгода исправительных работ по месту работы с отчислением двадцати процентов от зарплаты.

Судимость у меня кончалась только в 88-м. Но за это время все изменилось, началось то, чего вообще невозможно было ожидать. В принципе. Никто же не думал, что эта система может измениться! Мы всё делали только для того, чтобы стать самими собой, получить опыт и ощущение свободы, самодостаточности. Ты не предал сам себя. Этого уже достаточно. Но получилось больше, чем мы ждали.

А вообще – не надо спешить. Бессмысленно. У большинства нет такой задачи: разобраться в том, как реально все устроено в политике, в истории. Им вполне нормально, комфортно. Вытащить людей из этого комфортного состояния и показать, что комфорт может оказаться губительным если не для них, то для их детей, для будущего страны, – это очень непростая вещь. И всех никогда не вытащишь. Но все равно надо работать с теми, кто хочет, кто готов. А таких много. Таких очень много.

Владимир Войнович



Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде. После окончания войны и эвакуации жил в Запорожье, где окончил ремесленное училище, потом работал на алюминиевом заводе, учился в Московском государственном педагогическом институте, ездил осваивать целину. В 1962 году стал членом Союза писателей СССР. С 1966 года принимал активное участие в движении за права человека. Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», над которым Войнович работал с 1963 года, ходил в самиздате. В декабре 1980 года был выслан из СССР, через год лишен советского гражданства. В 1980–1992 годах жил в ФРГ и США. В 1990 году Владимиру Войновичу было возвращено гражданство, и он вернулся на родину.

Я думал, что я аполитичен. Но когда в 1965 году арестовали писателей Синявского и Даниэля, я понял, что не могу сделать вид, будто меня это не касается. В то время я только

начинал свою писательскую карьеру и с ними не был знаком. Но ощущение, что нельзя молчать, наблюдая все это безобразие, оно стало явным. Во-первых, случись что-то подобное со мной, я же буду надеяться, что за меня кто-то заступится? Почему тогда сам не вступаюшь за других? Во-вторых, молодость моя пришлась на сталинское время. Отец сидел в тюрьме по политическим обвинениям. А я часто задавался вопросом: как же это было возможно? Почему люди молчали? А многие вообще одобряли репрессии. И я решил не молчать. Вот так и оказался на этой скользкой дорожке.

Сначала я просто подписывал письма. (Хотя письмо в защиту Синявского и Даниэля было написано по моей инициативе, но писал его не я, и до сих пор автор мне неизвестен.) Тогда еще была надежда, что власть одумается и даст обратный ход. Ведь их судили за то, что они печатались за границей. И на Западе разгорелся скандал, все газеты писали про это. А я подумал, что наша власть попала в очень неловкое положение и ищет выход. Вот я и решил этот выход им подсказать.

У нас была встреча с судьей Смирновым, который вел дело Синявского и Даниэля. Я от лица писательской общественности предложил взять их на поруки и послал судье записку, правда анонимную, потому что боялся. Таким образом, я придумал для власти выход из положения – мы признаем их преступниками, но раз вы, писатели, беретесь их перевоспитывать, так уж и быть, не посадим. И скандал бы

погас. И советская власть, может быть, продержалась бы еще лет на пять больше. Но случилось то, что случилось. Это был процесс, который подорвал власть, первый спиленный сук. И даже на него они не клюнули, и все завертелось дальше.

Я подписал второе письмо, третье, и меня начали наказывать. Сначала в Союзе писателей мне был объявлен строгий выговор. Он означал запрет на все, поскольку власть в Советском Союзе была тотальная. Ни одно издательство не могло меня печатать. А я в трудные времена подрабатывал тем, что в журнале «Новый мир», например, писал рецензии и отзывы на произведения начинающих авторов. За это платили небольшие деньги. Но и эту работу мне перестали давать. У меня в это время в пятидесяти странах очень успешно шли две пьесы. Запретили и их.

Хотя когда они только вышли, я стал зарабатывать по тогдашним временам довольно много. Наивысшая зарплата инженера на тот момент была сто двадцать рублей в месяц. А я стал получать – четыреста, а потом и восемьсот, и тысячу двести. Однажды я пришел к бухгалтеру, которая получала не больше ста рублей, а она, глядя в мою ведомость, как закричит – посмотрите на живого миллионера. Она тогда не знала, что это мой последний заработок. И в следующий раз, когда я пришел, она мне сказала: «А для вас денежек нет».

С этого момента началось время безденежья, власть за этим внимательно следила. Некая Алла Петровна Шапош-

никова из Московского комитета партии прямым текстом говорила мне: «Мы вас голодом заморим». Хотя я никогда партийным не был, но партия все равно меня наказывала.

Когда кто-то объявляет тебя своим врагом, ты тоже начинаешь ощущать его как врага. Иначе нельзя. Поэтому если государство объявило меня диссидентом (было и другое слово – «отщепенцы»), значит, так тому и быть. Люди, преследуемые властью, старались держаться вместе. Я со всеми общался довольно близко. Одним из главных диссидентов был тогда Петр Якир, сын командарма Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году. Спустя 35 лет арестовали и сына, Петру Якиру угрожали смертной казнью, и он покаялся. В итоге он вышел на свободу, но общество его не признавало, к нему относились с презрением, как к предателю. Да и сам он чувствовал себя ужасно и вскоре умер, наверное не смог пережить всего этого. А его поделщик Виктор Красин по сей день жив-здоров в Америке. Но это был единичный случай. В основном диссиденты вели себя вполне достойно. И когда их сажали, они держались.

Я думаю, это как на войне: когда человек туда попадает, а вокруг свистят пули, ему хочется зарыться в землю от ужаса. А потом он привыкает и приспосабливается. Кроме того, чувство гнева и ненависти к власти помогают не бояться ее.

Было много людей сочувствующих, которые думали так же, как мы, но вели себя более осторожно. А были такие люди, которые, увидев меня, переходили на другую сторону

улицы, от греха подальше. Но друзей было, конечно, гораздо больше.

Жизнь моя сложилась так, что я с детства работал в колхозе, потом четыре года армии. И если бы не этот опыт, не смог бы я написать «Чонкина». Ну и мое критически-ироническое отношение к советской власти дало о себе знать. Хотя когда я начинал писать «Чонкина», серьезных столкновений с властью у меня еще не было. Но я к этому времени знал все о репрессиях сталинского времени, о судьбе своего отца, знал людей, которые сидели по двадцать лет. Мне не за что было любить советскую власть. Но более острое чувство возникло позже.

Сначала у меня был замысел закончить историю Чонкина пятьдесят шестым годом, когда он выходит из лагеря. А потом я оказался за границей и увидел там много таких Чонкиных. Потому что было три волны эмиграции. После Второй мировой войны за границей осталось много простых солдат, которые оказались в плену и не хотели возвращаться. Так я придумал Чонкину продолжение.

Роман вышел в самиздате. Лежала у меня рукопись, никто ее не печатал, я дал ее почитать какому-то кругу друзей, а там нашелся кто-то, кто без моего разрешения перепечатал ее и передал дальше. А если книга интересная, она продолжает множиться и распространяться. Как писал поэт Галич, «„Эрика“ берет четыре копии, вот и все! А этого достаточно». Потому что четыре копии множатся уже бесконтрольно».

но. Вот так получилось и с «Чонкиным», а потом кто-то взял и передал его на Запад.

В конце концов меня исключили из Союза писателей и отношения с властью обострились. Тогда я решил, что буду сам отправлять рукописи за границу.

Дело в том, что в 1973 году, после присоединения СССР к Женевской конвенции, было организовано Всесоюзное агентство по авторским правам. Потому что до этого очень много рукописей попадало за рубеж, на что их авторы говорили, что никакого отношения к этому не имеют и как они там оказались не знают. А западные издательства могли все это печатать без разрешения.

Но когда появилось агентство по защите авторских прав, ситуация изменилась. Торговать рукописями можно было только через них. А они захотят – будут представлять твои интересы, а не захотят – не будут. Но если ты сам продашь свою рукопись, тебя посадят в тюрьму.

В ответ на это я стал демонстративно передавать свои рукописи на Запад. Один раз приехал сюда важный американский политик, по-моему государственный секретарь Генри Киссинджер. И один человек из его делегации решил меня посетить. А я обратился к нему с просьбой взять мою рукопись. Он недолго думая сунул ее за пазуху, и на следующий день она была уже в Америке.

Меня тяготило пребывание в Союзе писателей, потому что он превратился в такую полуполицейскую организацию,

фактически прикрывал и одобрял все расправы над инакомыслящими. Я уже думал сам из него выйти, но не хотел облегчать им работу. А когда они наконец меня исключили, я был уже довольно известный писатель. Об этом сразу сообщили иностранные агентства. А французский ПЕН-клуб принял меня в свои члены.

Жизнь здесь стала другой, но ко всему привыкаешь, и к слезке тоже. Почему-то все считают, что обязательно за тобой должна ездить черная машина. Чаще было наоборот – серенькие такие, неприметные «Жигули» и «Волга». Две машины, и в каждой по четыре человека. Они преследуют вас все время. Если вы едете в метро, значит, они выходят из машины и едут с вами в метро. По рации сообщают, где вы вышли, а там вас ждет другая машина. Дом мой был окружен все время. Конечно, это действует на нервы. И ладно я, но ко мне приходили люди, некоторых останавливали и говорили: если вы к Войновичу, то лучше туда не ходите.

Был такой случай: одна итальянская славистка шла к Виктору Шкловскому, который жил в квартире подо мной. Ее остановили и предупредили, потому что решили, что она ко мне собирается. Она ничего не поняла, пошла к Шкловскому, а когда возвращалась, ее ударили чем-то тяжелым по голове и сказали: еще раз придешь к Войновичу, вообще уьем.

Квартира, конечно, была на прослушке. Один раз они решили провести со мной беседу в «Метрополе» и дали по-

нять, что все знают. Подслушали мой разговор, что редиска на даче плохо растет, и говорят между делом – да, редиску тяжело выращивать. Тяжелый был разговор. Сначала они вроде с благими намерениями ко мне, мол, хотим вернуть вас в советскую литературу, зачем вам за границей печататься. Потом стали угрожать. А под конец вообще отравили. Хотели запугать, чтобы я согласился с ними сотрудничать или пообещал, что больше ничего писать не буду. Но быстро стало понятно, что ждать от меня нечего.

Меня спрашивали: где вы храните свои рукописи? Я отвечал, что с тех пор, как пропали рукописи, допустим, у Гроссмана, все научились прятать так, что вы не найдете. Или вот такой диалог:

– Кто представляет ваши интересы за границей?

– У меня там есть адвокат.

– У вас с ним постоянная связь?

– Прерывистая.

– Вы знаете, ведь и жизнь прерывистая, сегодня вы живы, а завтра нет... Ладно вам было бы лет семьдесят, но в сорок три года жизнь заканчивать рановато.

Таких разговоров у меня с ними было два, один в «Метрополе», другой в здании КГБ. Присутствовали всегда двое, при этом один говорил, а второй только поддакивал и подхихкивал. Выйдя от них, я почувствовал себя паршиво, потом мне стало еще хуже, и в конце концов стало ясно, что это попытка отравления.

Оклемавшись, я написал письмо Андропову, что убийство – это тоже неплохая оценка заслуг писателя, но «Чонкин» в своих драных обмотках уже пошел гулять по миру, и всем вашим инкассаторам вместе взятым его не остановить. Конечно, я не рассчитывал на то, что они станут извиняться, но высказаться хотелось.

После этого я стал еще наглее и делал уже все что хотел. Я купил машину, хотя была опасность, что они могут подстроить аварию, но терять было уже нечего. Естественно, они меня преследовали. Когда мне это сильно надоедало, я разворачивал машину и шел на таран. А они увивали в сторону.

Они хотели меня запугать, но я показал им, что не боюсь. Например, я выхожу из машины, а они едут мимо так близко, что задевают края моего пальто. Но в следующий раз такой номер им уже не удался. Я вышел из машины и, вместо того чтобы шарахнуть от них на тротуар, шагнул на середину дороги. Тогда они уже испугались, из машины повыскакивали, потому что приказа убить меня пока все-таки не было.

Это была настоящая война. И я показал, что боюсь смерти меньше, чем они выговора.

Потом начались прозрачные намеки на отъезд. Однажды я получил письмо из Израиля, от какой-то тети, которую знать не знал. Это было приглашение выехать вместе с семьей, с родителями и сестрой, жившими в провинции. Я не поленился выйти на улицу и демонстративно на глазах у кагэбэшников порвал письмо и выбросил.

В декабре 1979 года началась война в Афганистане, Сахарова выслали в Горький, и я в иронической форме написал письмо протеста. А уже в феврале 1980 года ко мне явился человек из райкома КПСС и сообщил, что терпение советской власти и народа кончено. И если я не изменю ситуацию, моя жизнь станет невыносимой. На что я ему ответил, что жизнь моя и так уже невыносима, и если речь идет о том, чтобы я покинул Советский Союз, я готов это сделать. Но ходить обивать пороги для этого я не буду. И уеду только при условии, что смогу забрать свою библиотеку и архивы. Они на все это согласились.

Естественно, все рукописи, которые были мне нужны, я переправил за границу до отъезда. Но одну все-таки пришлось взять с собой. И когда они самым тщательным образом досматривали мой чемодан, перебирая каждую бумажку, рукопись они нашли и решили конфисковать. На что я заявил, что тогда никуда не поеду. «Володя, другого случая не будет!» – крикнул Булат Окуджава, который меня провожал. На самом деле рукопись эта мне не особо нужна была, но я знал, что им нельзя уступать ни на йоту.

Какой-то кагэбэшник подбежал к моей жене и говорит: на что он рассчитывает? Скажите ему, ведь вы же знаете, что мы ему рукопись не отдадим. Она ему ответила: нет, отдадите. Он сказал: вы нас не знаете. А она ему: нет, это вы его не знаете. И мы победили, они все мне отдали.

Уехать я согласился, поскольку очень устал от этого про-

тивостояния. Мне дали паспорт на два года, и я подумал, что сейчас отдохну, отдышусь, а потом тихонько опять приеду в Советский Союз. Умом я понимал, что в Москву меня не пустят, но иллюзия такая все равно была.

А потом я прожил год на Западе и понял, что не хочу обратно. Не хочу больше все время ходить в окружении этих самых лиц, не хочу жить без телефона, не хочу быть *отщепенцем*.

Дело в том, что перед отъездом я сказал: через пять лет в Советском Союзе начнутся радикальные перемены. Я не сильно ошибся. Они начались через шесть лет. Еще в письме Брежневу я написал: скоро ваши произведения будут сдаваться в макулатуру по двадцать копеек за килограмм.

Перестройку я воспринял с надеждой и большим энтузиазмом. Но когда приехал, понял, что тут все не так радужно. Жизнь была непростая. Мне говорили: тебе хорошо, у тебя там, в Германии, колбаса есть, ты никогда не вернешься. Я не осуждаю, хотя очень хотелось, чтобы здесь многое поменялось. Но, к сожалению, очень многие талантливые, активные люди уехали. Возможно, поэтому мы имеем сейчас то, что имеем.

Я очень хотел поспособствовать установлению в России какого-то человеческого строя. Но сам приспособиться не мог. Общество встретило меня очень настороженно. Особенно писатели; наверное, они видели во мне конкурен-

та. И принимать активное участие в общественной жизни было трудно. Но в конце концов Ельцин все-таки подписал какое-то распоряжение, и меня взяли в комиссию по гражданству. Она состояла из генералов КГБ, работников МИДа и работников ОВИРа. Задержался я там недолго, не мое это было. Но успел поспособствовать тому, чтобы выдали паспорт Буковскому.

Очень многие люди диссидентов вообще не понимают – это беда нашего общества. И меня это удивляет. В большинстве стран все по-другому – одного посадили, и миллион выходит на площадь требовать его освобождения. А у нас, особенно в то время, все спрашивали: зачем вам это нужно? Вы что, надеетесь советскую власть сокрушить? На что я отвечал – с удовольствием бы, но таких задач у меня пока нет. Просто я не могу молчать, когда на моих глазах кого-то унижают. Ведь в советское время как было заведено? Сажают вашего ближайшего друга в тюрьму, а от вас требуют, чтобы вы проголосовали за это на собрании. И очень мало людей было, к сожалению, для которых слово «справедливость» что-то значило. Про Сахарова, например, все недоумевали, чего же ему не хватало. Да всего хватало. Просто совесть у человека была. И вот эта общественная глухота меня до сих пор удивляет.

Меня часто спрашивали, в чем был смысл этого противостояния. Я всегда отвечаю одно и то же – я хотел и хочу оставаться тем, кто я есть. И все? – удивляются некоторые.

А это ведь очень много. Потому что советская власть требовала предать себя и стать удобным для нее. Чтобы как у Багрицкого «Но если он скажет: „Солги“, – солги, но если он скажет: „Убей“, – убей». А я не готов был вот так, потому что убийство своей личности иногда страшнее самоубийства физического.

Я же свою задачу сформулировал очень просто – жить по совести и писать по способностям.

Арина Гинзбург



Арина Сергеевна Гинзбург родилась 9 августа 1937 года. Окончила филологический факультет МГУ, там же преподавала потом русский язык иностранцам. В 1962 году познакомилась с журналистом и правозащитником Александром Гинзбургом. За пять дней до их свадьбы (1967 г.) Гинзбурга арестовали, в квартире провели обыск, а Арина лишилась работы. Только в 1969-м им разрешили расписаться прямо в лагере. После освобождения муж жил под надзором в Тарусе. В 1977 году Александра Гинзбурга, руководившего солженицынским фондом помощи политзаключенным и их семьям, снова арестовали и на восемь лет отправили в лагерь для рецидивистов. Арина стала одним из распорядителей фонда. В 1979-м Александра Гинзбурга высылают из СССР в Америку. В феврале 1980 года вслед за мужем Арина покинула Советский Союз. Гинзбурги переехали в Париж, где Арина долгое время работала европейским корреспондентом радиостанции «Голос Америки» и заместителем главного редактора газеты «Русская мысль».

Все, конечно, начинается с личных историй. Я выросла в семье, в которой поразительным образом смешивались старые русские традиции и советские, даже патриотическо-па-

тетические тенденции.

Дедушка у меня из старинной, но небогатой дворянской фамилии. Бабушка – из семьи ссыльных поляков, участников восстания. Он юрист, она учительница. А мама, которая родилась в 1913 году, училась уже в советской школе и разделяла все тогдашние иллюзии. К счастью, она была так занята построением нового общества и воплощением в жизнь его принципов, что меня очень часто отдавали дедушке с бабушкой. Что меня в конце концов и сформировало.

В 1954 году я поступила в МГУ на филфак. До XX съезда было далеко, но медленное потепление уже началось – возвращались изгнанные профессора, зарождалось шестидесятиничество. В СССР стали активно приезжать иностранцы, понадобилось много преподавателей русского как иностранного, меня взяли на кафедру почасовиком, все складывалось благополучно. И тут в 1963 году я познакомилась с Аликом Гинзбургом – он как раз вернулся после своего первого заключения. Мы с моим тогдашним мужем Александром Жолковским были уже на грани развода, но гости к нам еще приходили. Однажды вместе с приятелями зашел Алик. И тогда же он сказал приятелю: «У Жолковского такая жена, я бы на ней женился сразу же». Что самое интересное, и женился ведь, хотя после той встречи мы не виделись год или полтора.

В 1967-м Алик стал делать «Белую книгу» – сборник материалов о процессе Синявского и Даниэля; посвятил он ее светлой памяти Фриды Вигдоровой, с которой дружил.

А еще он указал в машинописном экземпляре книги свой адрес и телефон. И последний «слепой» экземпляр сам отнес в КГБ. Как говорится, иду на вы. Книга широко разошлась в самиздате, была издана по-французски, по-русски – в «Посеве», такая хорошенькая, маленькая, карманное издание. И тут уже, конечно, власти закусили удила. К тому времени Юра Галансков выпустил сборник «Феникс», Алик – «Белую книгу», а Вера Лашкова все это перепечатывала. Юра и Вера были арестованы в начале января 1967 года, Алик и Есенин-Вольпин тут же организовали демонстрацию на Пушкинской площади, а 17-го числа Гинзбурга взяли. К тому времени, понимая, к чему дело движется, мы решили, что надо оформить наш брак. Успели подать документы в загс. И тут его арестовали – за пять дней до регистрации.

В день ареста Алик пошел меня провожать на такси. Недалеко от «Ударника». Не успели мы подойти к стоянке, как завязалась какая-то драка. Какой-то мужик стал бить женщину. Гинзбург рванулся; я ему говорю: «Тихо. Спокойно. Это для нас устроен спектакль». Он остановился – и моментально они успокоились. Но как только я уехала, к нему подскочило множество мужиков, заломили за спину руки, запихнули в машину. Как там у Галича: «Едут трое, сам в середочке, два жандарма по бокам».

Мы потом ездили искали его. Я в КГБ стучалась, в приемную, ночью... Следствие продолжалось год; роль провокатора сыграл приятель Галанскова по фамилии Доброволь-

ский – он давал на них показания, и на Юру, и на Алика. Между тем я работала на идеологической кафедре. Меня вызвали и оставили наедине с холеным, представительным мужчиной лет сорока с небольшим. Как опять же у Галича: «И представительный мужчина тот протокол положит в стол». Стал он меня обрабатывать. А меня Юрка Галансков когда-то предупреждал: «Арин, тебя будут в любом случае вызывать. Ты увидишь перед собой очень вежливого, очень приветливого человека, с большой симпатией к тебе относящегося. И ты, как воспитанный человек, будешь с ним тоже разговаривать вежливо, с симпатией. Но я тебе советую отказаться от общения в довольно жесткой форме. И ты увидишь, как маска сойдет и перед тобой окажется зверь, настоящий волк, который будет действовать грубо, brutally».

Начал этот человек и вправду с комплиментов: вы такая перспективная, такая талантливая, а он еврей, без высшего образования, ваша мама недовольна, откажитесь от намерения выйти за него замуж, и жизнь ваша пойдет как по маслу... А я ему на все отвечала: «Вы понимаете, человек сидит в тюрьме. Он арестован. Его невозможно бросить. Если вы правы и я смогу в этом убедиться, ну потом мы разойдемся. Но сейчас я хочу, чтобы наш брак был зарегистрирован». Он за свое – и я за свое. И в конце концов говорю: «Меня так воспитывали. И семья, и русская литература: когда человек в беде, его не бросают». Ну, он закипал, закипал. Потом вскочил, хлопнул здоровенным кулачищем по столу: «Я

знаю, кто вы. Вы жертва ложно понятого чувства долга. Пеньяйте на себя».

Дальше меня стали тягать. Сначала на кафедре, где мои приятели пытались меня защищать, но остальные говорили, что я в диссидентку, в декабристку играю, думаю только о себе (а им сказали, что теперь из-за меня их никого не будут выпускать на стажировку за границу). Потом на ученый совет факультета, который проголосовал против меня, и в конце концов на большой ученый совет МГУ. И видно было, что они всё понимают. Что они готовы помочь как только можно. И было принято решение, что я профессиональный преподаватель, но поскольку у советского педагога есть два лица, профессиональное и идеологическое, то меня к иностранцам допускать нельзя. И предложили убрать меня в книгохранилище научной библиотеки. Но с сохранением зарплаты.

Более того, когда я собиралась ехать к Алику и меня без разрешения ректора не отпускали из библиотеки, я отправилась на Ленинские горы, записалась на прием. И Петровский, ректор, меня принял. Невысокого роста, не профессорского вида, бритый наголо. Встал коленками на стул и так, стоя на коленках, разговаривал: «Ну рассказывайте. Как что, как ситуация». И дал отпуск. А между его кабинетом и приемной, где сидели посетители, был такой тамбурочек между дверями. И провожая меня, он зашел в тамбурочек и говорит тихо: «Если вам нужны деньги, то, пожалуйста, скажите мне, и я из ректорского фонда готов вам помочь».

Из университета меня все-таки выгнали, под лукавым предлогом: должность не соответствует зарплате. Они не предложили уменьшить зарплату, а просто уволили. Чтоб заработать деньги, я давала уроки школьникам, какие-то рецензии писала, писатель Игнатий Игнатьевич Ивич оформил меня литературным секретарем, чтобы милиция придраться не могла. И до 1969 года я ездила к Алику на так называемые общие свидания: когда ты едешь ночь на скором до станции Явас, выгружаешься и видишь огромную толпу с чемоданами, рюкзаками – все едут на свидание. А на платформе их встречает так называемое мордовское такси: женщины в голубых или розовых байковых штанах до колена и в кацавейках. Они подрабатывали, встречая приезжавших на свидание и помогая им дойти до той станции, где останавливается «кукушка». Как правило – пролезая под поездами, чтобы успеть. Арестантская Россия мчалась со своими чемоданами, перевязанными веревками. Это такое зрелище было...

По приезду тебе или дадут два-три часа, или не дадут. Мне не давали, я же невеста, вохровцы издевались по-черному: «Если жила с ним, надо было штамп получать». Особенно старался надзиратель по фамилии Кишка. А брак заключить при этом не позволяли. И Гинзбург тогда объявил голодовку. Все, кто мог, к нему стали присоединяться, человек десять-двенадцать. В том числе убежденные националисты – Леня Бородин, люди из знаменитой группы Огурцова, монархисты, коммунисты, все. Кто не мог голодать из-за здо-

ровья, как Юлик Даниэль, каждый день писали заявления. Потому что это было общее дело, борьба за человеческое достоинство, за человеческую справедливость.

Через двадцать четыре дня Алик снял голодовку, потому что Юра Галансков был в плохом состоянии, с тяжелой язвой, и это могло кончиться просто Юркиной смертью. Он ведь и умер в мордовском лагере – от перитонита, через год после выхода Алика. В больничке, как принято говорить на жаргоне.

В июне была голодовка. А в середине июля 1969 года мне звонят и говорят: зайдите, пожалуйста, в ГУИТУ. Главное управление исправительно-трудовых учреждений. Новое имя ГУЛАГа. Я пришла, из-за стола поднялся тоже представительный мужчина, у которого было такое выражение лица, словно наконец любимую дочку выдали замуж. «Ну, поздравляю, – сказал он. – Вы добились своего. 21 августа будет ваша регистрация в лагере Озерный». И я начала собираться. Подключился очень широкий круг – в магазине «Березка» купили белое скромненькое, но хорошенькое платье, кто-то приобрел для нас сладости, какой-то сыр специальный, кто-то сделал котлетки. В результате сумки были просто неподъемные. Поехали втроем – я, мама Алика и Боря Шрагин, замечательный диссидент, муж Наташи Содомской. Еле добрались – до Озерного ничего не ходит. Вызвали туда какую-то тетку из загса регистрировать документы. Ввели Алика. Это вообще была картинка. Лагерный бушлат и шта-

ны на пять размеров больше – такую одежду выдавали после шмона. А в руках букет цветов. От всех понемножку. Что-то от литовцев. Что-то от латышей. Что-то от грузин... А когда уже нас расписывали, эки собрались за стеной этого домика и запели: «Скажите же мне, из какого вы края прилетели сюда на ночлег, журавли...»

Вообще много было удивительного. Уже ближе к концу Аликовой отсидки этот самый Кишка приходит к ним и говорит извиняющимся голосом: «У нас магнитофон забарахлил». А нужно сказать, что в магнитофоне этом специально была заблокирована функция записи, только воспроизведение – чтобы эки что-нибудь не то не записали. Алика недаром в шутку называли «русский народный умелец Гинзбург»: он открыл магнитофон и выяснил, что тот забит тараканами. Вычистил, заодно восстановил функцию записи, Юлик Даниэль начитал переведенную им поэму латышского поэта Кнутса Скуениекса «Не оглядывайся», посвященную лагерным женам, а заключенные всех землячеств – литовцы, латыши, украинцы, грузины – что-то под запись рассказали о себе. И это удалось передать на волю. Оттуда западным радиостанциям. И это прозвучало в эфире! Сейчас пленка хранится в «Мемориале».

За нее Алика отправили во владимирскую тюрьму; там же были Юлик Даниэль, Валера Ронкин – злокозненные, совсем уж вредоносные эки. Во Владимире он и освобождался. Мы приехали его встречать с мамой Наташи Светловой,

ныне Солженицыной. И по дороге заехали к Солженицыным. Александр Исаевич, познакомившись с Аликом, спросил: «Чем вы будете дальше заниматься?» А Гинзбургу было разрешено жить за 101-м километром от Москвы, то есть не ближе Тарусы. Алик ответил: «Не знаю, какая там будет у меня работа, но больше всего я хотел бы наладить что-то, что помогает экам выжить».

Этот разговор произошел в январе 1972 года. А летом Александр Исаевич еще с одним общим знакомым, бывшим эком, тайно приехал в Тарусу и устроил встречу на берегу Таруски, где они договорились о будущем фонде.

«Архипелаг ГУЛАГ» еще не был тогда опубликован, но Солженицын уже принял решение, что все гонорары за книгу будут отданы в этот фонд. И выделил четвертую часть Нобелевской премии. Алику он предложил возглавить этот фонд, который будет помогать не только заключенным, но их детям, матерям, женам, престарелым родителям. Причем Алик составил по возможности максимально полный список людей, с указанием, кто родственники, какие лекарства надо посылать, сколько детей, их возраст и так далее. Считалось, что «ГУЛАГ» будет издан через три года, тогда все по-настоящему и начнется. Но судьба, как известно, решает по-своему. В 1973-м была арестована Елизавета Вороньянская, которая помогала Александру Исаевичу перепечатывать «Архипелаг». Ее заставили признаться, где спрятан экземпляр, и выпустили. Она вернулась и повесилась. И то-

гда Александр Исаевич Солженицын дал команду, что это будет опубликовано на Западе. Первая часть «Архипелага» вышла к западному Рождеству 1973 года.

А гэбэшники пришли за Солженицыным. Он в тот момент гулял с маленьким Степой, младшим сыном, которому было шесть месяцев. С колясочкой. И разговаривал с математиком Игорем Шафаревичем. Я в то время жила в Беляеве-Богородском, и телефон у меня то включали, то выключали. А тут вдруг зазвонил телефон. Я беру трубку, слышу Наталию Солженицыну. Она говорит: «Слушай меня внимательно. Только что был арестован Александр Исаевич. Сообщи всем, кому можешь. Наташа». Они дали ей сделать один звонок, после чего отрубили связь.

Я обзвонила всех, кого могла, побывала у Наташи, вернулась в Беляево. А наутро звонок в дверь. Я думала, обыск. Спрашиваю: «Кто?» А мне из-за двери голосом Алика отвечают: «Пушкин». Я говорю: «А, привет, Пушкин. Ты как?» Он ведь не имел права после восьми часов вечера выходить из дома, как поднадзорный. Про арест Солженицына услышал по западным голосам и ночью, скрываясь, лесными тропинками перешел на другую линию железной дороги. Попутно свернув себе ногу в сугробах. Сел на первую электричку в Москву и приехал. Поселился там, где оставались Наташа Солженицына, ее мама Екатерина Фердинандовна и четверо детей... Кстати, уезжая, они оставили фонду машину Екатерины Фердинандовны, «Москвич».

Тридцатого марта Наташа уехала, квартиру в Козицком переулке поручила разобрать друзьям – потому что Солженицыны с собой не взяли ничего. Везде – на каждом шкафчике, на каждом столике – были наклейки: «Ване, Пете, Коле». Разобрали. Алик запер дверь на замок и поехал на вокзал, в Тарусу. Там его и задержали – правда, арестом это в тот раз не обернулось. Позволили позвонить мне; по цепочке дошло до Александра Исаевича, он тут же сделал заявление. И с этого момента началась открытая жизнь фонда. Через короткое время счет зарегистрировали в швейцарском банке, и оттуда средства поступали в СССР, на помощь узникам лагерей, психушек, подследственным, ссыльным. Причем легально, на счет Внешторгбанка, чтобы никаких наличных долларов не было. Некоторые жены заключенных, другие люди соглашались получить во Внешторгбанке сертификаты и отдать их на деятельность фонда. На сертификаты можно было купить какие-то продукты, одежду, чтобы одеть и накормить освобождавшихся, послать посылку на Новый год, на Рождество и на Пасху.

Государство с каждого перевода получало свой процент. Сначала отчуждали двадцать, потом тридцать процентов, в конце концов дошло до половины. Им это было очень выгодно, но дело развернулось так, что терпеть этого они больше не могли. Тем более что Алик одновременно принимал участие в работе Хельсинкской группы.

Официально он числился секретарем у Сахарова, чтобы

не могли привлечь за тунеядство; впрочем, он и правда ему помогал. Тут в «Литературке» появляется статья бывшего зэка Петрова-Агатова против фонда, против Алика. Гинзбург успел провести пресс-конференцию для западных корреспондентов, где отчитался о работе фонда, назвал суммы, фамилии и в конце сказал: «Прошу вас с симпатией и любовью отнестись к моему будущему преемнику». Было совершенно непонятно, кто им станет. А через день или два Алик вышел на улицу позвонить Сахарову, потому что к этому времени у нас телефон уже отобрали. Ушел – и не вернулся.

Уже ночью, ближе к полуночи, мы отправились в приемную КГБ. Сначала нам не открывали. Мы барабанили в дверь. Потом открылось какое-то окошечко. «Что вам надо?» – «Я ищу моего мужа». – «Ничего не знаю». – «Я все равно не уйду, пока вы мне не скажете, что произошло». Окошко захлопнули. Через короткое время опять открыли. И человек протянул допотопный телефонный аппарат на длинном-длинном шнуре. Я взяла трубку и услышала: «Да, ваш муж находится у нас, приезжайте завтра утром в 11 часов, и мы вам все сообщим. Пока можем вам сказать, что ему предъявлено три статьи. Две из них расстрельные». Я ответила «спасибо» и поехала домой. И только потом узнала, что ему предъявлены 70-я, 74-я – измена родине, и 66-я, валютная, поскольку нам подложили сто марок и во время обыска нашли. Одновременно были арестованы Юра Орлов, Толя Щаранский – и тоже за Хельсинкскую группу.

У Людys Алексеевой прошла пресс-конференция, где сообщили о том, что Алик арестован. И назвали преемников: вместо одного человека у фонда будет три распорядителя: Татьяна Сергеевна Ходорович, Мальва Ланда и только что освободившийся Кронид Любарский. Правда, Татьяна вскоре решила уехать, Кронид тоже (им фактически поставили ультиматум – или отъезд, или посадка), а Мальве предъявили бредовое обвинение в поджоге собственной квартиры и арестовали. Формально она осталась в числе распорядителей, но реально куда там – ссылка. Тут пришлось выйти из тени нам с Сережей Ходоровичем. Это был смертельный номер. Потому что хотя Сережка очень много делал, но никогда не собирался что-то возглавлять. А у меня было двое маленьких детей и один приемный, при этом моя мама и моя семья меня не поддерживали, а мама Алика была уже очень больна.

В процессе следствия две самые страшные статьи отвалились, осталась только 70-я. Алика отправили в маленькую зону, где были политические рецидивисты. И у нас там за все время было одно свидание. Сутки. И я почему-то ему сказала: «Алик, ты знаешь, когда тебя вышлют, не забудь записать в число высылаемых с тобой Сережу, нашего приемного мальчика». (Мы не могли его усыновить официально, никто бы нам этого не дал.) Отец Сережки – ужасный алкоголик, работал вместе с Аликом водопроводчиком в Тарусе. Сережка к нашему дому прибилсь, и мы потом его увезли

с собой в Москву, устроили в ремесленное училище...

И тут они забрали Сережу в армию, хотя он не подлежал призыву: у него был какой-то страшный остеомиелит и одна нога короче другой. Незадолго перед тем как забрать его, семнадцатилетнего мальчишку, доставили в Калугу и стали допрашивать. А он им отказался давать показания какие бы то ни было. И калужский следователь сказал ему: «Ты считаешь, что выиграл. Но помни, сука, тебе по земле не ходить. Ты еще за это отплатишь». И вскоре – военная комиссия, армия, дальний север.

Когда я просила Алика включить Сережу в список на высылку, мы не знали, что уже полгода идут переговоры об обмене заключенными – с американцами. Просто так сказала. Но свидание было в сентябре. А 27 апреля следующего года я уложила детей спать, села у приемника и стала гладить белье, прямо на столе. И вдруг где-то в двадцать минут первого ночи диктор объявляет: «Мы прерываем нашу передачу для экстренного сообщения. Только что стало известно, что по договоренности между правительством Соединенных Штатов Америки и Советского Союза подписано соглашение об обмене заключенных на двух сотрудников советской разведки, осужденных на пожизненное заключение в Америке». Уточняют: советские политзаключенные уже прибыли в США. Вот их имена... И называют Александра Гинзбурга.

Вот так я и узнала. Телефона у меня больше нет, позвонить никому не могу. Дома двое маленьких детей. А к нам

уже приходили с угрозой погрома, обещали «гнев народа». Одному ребенку прыснули во дворе какой-то отравой из баллончика. Другого пытались сбить гэбэшной машиной, следившей за нами, когда он перебежал дорогу на Пушкинской, около скверика. Слава богу, он отделался разбитым лицом. Я боялась их одних оставлять. Вдруг прибегают ко мне Алик Бабенышев, приятель, который в нашем доме жил: посидеть с моими детьми.

В общем, той ночью, несмотря на тяжелый приступ и температуру под сорок, я провела две пресс-конференции. В десять утра явился какой-то посыльный из ОВИРа, сказал: «Собирайтесь срочно уезжать». Я сказала, что без Сережи мы не уедем. Врач, вызванный ими, подтвердил, что я тяжело больна и ехать не могу.

Позже Алик мне рассказывал, что они сидели с Кузнецовым на нарах, их подхватили, срочно отвезли на поезд, доставили в «Лефортово», где объявили: «Вы лишены гражданства, и завтра вас отправляют». Куда не сказали. Наглый Кузнецов, который сидел за угон самолета, сказал: «А пораньше нельзя?» Через день с мигалкой отвезли в американское посольство. И Алик попросил внести в бумаги, что членом семьи является Сережа. И американцы начали за Сережу бороться. Я все тянула время, девять месяцев мы сидели на чемоданах. А тут наступил Афганистан. И стало понятно, что все уже, *этим* море по колено. Меня вызвали и приказали уехать до 1 января 1980 года. Я говорю: «Вы шутите? Я

не собрана, мне нужно оформить доверенность на дом в Тарусе, чтобы потом продать и раздать долги». В итоге американский консул уговорил их сдвинуть срок отъезда на 1 февраля. Это был максимум: соглашение об обмене действовало только один год, и он истек. Американцы подытожили: если 1 февраля вы не уедете, мы ничего сделать не сможем. И мы первого февраля уехали. Это было ужасно. Такого тяжелого периода в моей жизни я даже не помню. Алик там сходил с ума. Здесь и Сережа под ударом, и дети, и мама, которая уже еле-еле встает...

Когда Сережа освободился из армии, он ночью с поезда поехал в Беляево. И до утра сидел на лестнице возле нашей квартиры. Наутро позвонил в дверь. Какие-то люди там были. Он сказал: «Простите меня. Но я жил в этой квартире некоторое время назад. Вы мне позволите зайти хотя бы посмотреть на нее?» Они его пустили. Все, конечно, было уже другое... И он жил у наших друзей. У Юлика Кима, у Бахминых. Все ему помогали. И мы еще как-то надеялись, что нам удастся его вытащить к себе. Он поступил учиться, казалось, что жизнь его налаживается. И в декабре восьмидесят пятого года (и подождать-то было прямо вот немного, да? вот-вот начнется перестройка) он покончил с собой...

А в феврале 1980-го мы попали в Париж. Потому что в связи с бойкотом Олимпиады самолеты из Америки в Москву не летали. Алик прилетел нас в Париже встречать. Нас долго, долго, долго вели по аэропорту, выдавали ка-

кие-то бумажки. Вывели наконец на какую-то площадку. И вдруг я увидела, как дети (а они были очень смешные, в курточках с капюшонами, которые им привезла Наташа Солженицына; у одного серенькая, у другого голубенькая; и в руках у них были сумочки с игрушками в виде то ли кошки, то ли медведя) с криком: «Папа, папа!» кинулись по лестнице. А наверху сидел Алик на корточках и смотрел на них. Вокруг корреспонденты, щелкают вспышками...

Мы переночевали одну ночь у Максимовых. И наутро на «Конкорде» полетели в Штаты. Нас немедленно перевезли в Дом свободы, Фридом Хаус, где была огромная пресс-конференция. На ней присутствовал Андрей Седых, который был когда-то бунинским секретарем. И он опубликовал в «Новом русском слове» хвалебную статью на целый разворот. А в конце написал: «И потом она завернулась в черную шаль, и по лицу ее покатались крупные слезы». Гинзбург меня потом все время высмеивал.

Вскоре мы поехали к Солженицыным в Вермонт и жили там несколько месяцев. И туда нам позвонили из Парижа и предложили мне работать в газете «Русская мысль». И уже в июне мы уехали в Париж...

Да, сегодня диссидентство не востребовано. Оно не было востребовано даже в перестройку. Но на самом деле это глубинно важный момент в истории России. Потому что российское общество глубинно научилось милосердию. И еще. В советской России была уничтожена самая креатив-

ная часть российской культуры, науки и общественной жизни. И на фоне расчеловечивания диссиденты стали делать свою работу. Иногда казалось, что бьешься в глухую стенку. Но нет. Я думаю, что при всем том, что нынешние годы – это откат назад, все-таки многое дало результат.

Я не была никогда отважным диссидентом. Я не могла бы, наверное, как Наташа Горбаневская, с маленьким ребенком пойти на площадь. Но у каждого свои тропинки и пути. Я просто делала свое дело, была сама собой. Вообще это было замечательное время моей жизни, несмотря ни на что. «Мам, – говорит мне старший сын Санька. – Это значит, что у нас было счастливое детство». Понимаете?

Наталья Горбаневская



Наталья Евгеньевна Горбаневская родилась 26 мая 1936 года. В 1956 году первый раз задержана КГБ за связь с распространителями листовок против вторжения советских войск в Венгрию и исключена из МГУ (позже окончила филфак ЛГУ). Работала библиотекарем, техническим и научным переводчиком. Публиковала стихи в самиздате. 25 августа 1968 года вышла на Красную площадь на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию. Она пришла туда с грудным младшим сыном. В 1969 году была арестована, два года провела на принудительном лечении в Институте имени Сербского и Казанской спецпсихбольнице с диагнозом «вялотекущая шизофрения». Под редакцией Н. Горбаневской вышли первые десять выпусков «Хроники текущих событий». Участвовала в создании Инициативной группы по защите прав человека в СССР. В 1975 году эмигрировала во Францию. Работала в журнале «Континент», сотрудничала с газетой «Русская мысль», радио «Свобода», публиковала поэтические сборники. Приняла польское гражданство. После 1990 года регулярно приезжала в Россию. Умерла 29 ноября 2013 года.

Родители у меня были – мама и бабушка. Что думала моя бабушка о советской власти и вообще о происходящем, я совершенно не знаю, тем более что бабушка умерла, когда мне

было четырнадцать лет. В то время никаких таких вольных разговоров в доме не велось. Я помню, мама бывала у своей приятельницы, чьего мужа репрессировали в 37-м году, и говорила так: «Лес рубят – щепки летят, вот ее муж ни в чем виновен не был, но его тоже посадили». По тем временам сомневаться в том, что он был виновен, – это уже довольно смелая фраза.

А много лет спустя мне Люся Улицкая рассказала, что уже после моей эмиграции она была у моей мамы, и та ей говорит: «Как же так, у Наташи все-таки двое детей, надо было думать». Люся возражает: «Евгения Семеновна, Наташа не могла иначе». И вдруг мама рассказывает: «А к нам на работу в 37-м году приехали из НКВД на собрание и говорят: у вас Михаил Моисеевич – враг народа. Я встала и говорю: месяц назад мы ему здесь благодарность выносили, как же это он теперь оказывается врагом народа?» Люся на нее смотрит: «Евгения Семеновна, у вас же тоже было двое детей, а в 37-м году так выступить было куда опаснее».

То есть смелость и стремление к справедливости у нее всегда были. Это не политические взгляды, это другое. Я на маму очень похожа и внешне, и темпераментом, поэтому у нас бывали очень сложные отношения, мы с ней сталкивались. Но при этом тайно очень любили друг друга; тайно – потому что у нас в семье была принята сдержанность в отношениях.

Когда мне было семнадцать-восемнадцать лет, все вокруг

читали стихи, поэтов начала XX века переписывали от руки, потому что машинки были редкостью, искали в букинистических магазинах – там можно было найти даже прижизненные издания Гумилева. Поэзия как бы возвращала в нас, ее читателей, свободу, потому что она с несвободой несовместима. Кроме того, поэзия Серебряного века не переиздавалась, и то, что ее от нас скрыли, уже настраивало антисоветски. Стихи меняли нас, мы становились другими людьми. Меняли настолько, что летом 1956 года, когда я во второй раз поступала в Московский университет, на филфак, мы с моим новым приятелем, который поступал на журналистику, оба ругали советскую власть, но я подумала: «Он ругает советскую власть с советских позиций, а я с антисоветских».

И тут произошло нечто страшное. Весной 1957-го моих друзей с филологического факультета МГУ арестовали по подозрению в антисоветчине, а меня взяли на три дня на Лубянку, и я дала на них показания. Полтора дня просидела, все отрицала, а потом во мне вдруг выиграло комсомольское сознание, и я начала их сдавать. Это самый мрачный момент в моей жизни, который я себе не простила никогда. После чего несколько лет старалась молчать в тряпочку и ни во что не лезть. Но друзья-диссиденты у меня оставались. Я познакомилась с Аликом Гинзбургом, вошла в «Синтаксис», который он издавал. Он тогда делал третий номер, я сразу стала ему помогать – на машинке печатать. Все это опять же происходило на фоне сочинения и чтения стихов;

уже года с 54—55-го в обороте появились стихи моих ровесников. Это оставалось главным, и я думаю, что стихи меня и вытянули из ямы, в которую я сама себя загнала.

А еще был самиздат, которым занимались все. Своей машинки у меня не было вплоть до 1964 года, пока мама мне не подарила, чтобы я писала диплом. (Впрочем, я и раньше печатала – на чужих машинках.) Самая знаменитая история моей самиздатской деятельности – распечатка «Реквиема» Ахматовой. Я пришла к Ахматовой, которая жила тогда в Москве у Маргариты Алигер, она мне дала «Реквием», я села и в ее присутствии переписала. И Анна Андреевна сказала: «До вас тем же карандашиком Солженицын переписал». А «карандашик» – это была шариковая ручка. Потом я у кого-то нашла машинку, перепечатала и дальше давала людям экземпляр и говорила: «Вернете мне мой и еще один». Сама я сделала по крайней мере пять закладок по четыре штуки.

Один экземпляр я дала Анджею Дравичу, поляку-литературоведу. А когда «Реквием» вышел на Западе, Анна Андреевна сказала: «Мне сообщили, что „Реквием“ дошел туда через Польшу. Ох, Наташа, не надо было давать этому поляку». Потом качнула головой и говорит: «Ну конечно, я понимаю, такой красивый поляк». Много лет спустя я встретила Анджея уже в Париже, и он сказал, что не имел никакого отношения к передаче «Реквиема» на Запад. В общем, я думаю, что от моих двадцати экземпляров родилось не мень-

ше двухсот, а всего тираж «Реквиема» по России доходил до нескольких тысяч, так что не «утечь» он просто не мог.

Через десять лет, в 1973 году, на Украине будут судить Рейзу Палатник, и «Реквием» станет основанием обвинения: распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Но в первой половине 60-х годов заниматься самиздатом, особенно поэтическим, было почти не опасно. Если это не был какой-то чисто политический, скажем национальный самиздат в республиках или религиозный самиздат, то даже если его забирали на обысках, сажали редко. Буковского, правда, посадили за фотокопию книги Джиласа «Новый класс», но это была матерая антисоветчина. В 1965 году прошли аресты и процесс в Ленинграде по делу «Колокола», посадили девять человек, но, опять же, это был чисто политический журнал, левый, полумарксистский, выражавший сомнения в том, что в Советском Союзе все правильно.

Кстати, уже после нашей демонстрации на Красной площади, в 1969-м, я ездила в Тарту забирать сына Ясика, которого на лето приютило семейство великого литературоведа Юрия Лотмана. И привезла им гору самиздата, ну просто гору. Что-то раздавала, массу перепечаток оставила у Лотмана. Лотман в своих мемуарах пишет: «Наташа подумала, что у нас хорошее место, чтобы спрятать самиздат». А я ничего такого не думала. Я думала, что это хорошее место, чтобы все могли получить доступ к поэзии. Когда меня вскорости

арестовали, у Лотманов прошел обыск, а в «Бутырке» мне следователи задали вопрос: «А знаете ли вы Лотман и Венцлова». Именно так – Лотман и Венцлова; они эти фамилии никак склонять не хотели. На что я сказала: «Как я написала в предварительном заявлении, я готова давать показания о себе и не собираюсь давать показания ни о своих друзьях, ни о знакомых, ни о незнакомых людях». У Лотмана, конечно, были потом неприятности, но это не только со мной связано и не только с самиздатом. Скорее с его основным делом – летними школами московско-тартуской семиотической школы, с научными изданиями. Его хотели хоть как-то прижать.

В общем, я стала активной участницей самиздата. Но все это тогда не вело еще к активному участию в протесте, не подталкивало к выходу из тени. Ни меня, ни других. И лишь после ареста, а потом и процесса против Синявского и Даниэля началось движение к демонстрации 5 декабря 1965 года (сама я в ней не участвовала), на которой требовали, во-первых: «Соблюдайте вашу Конституцию!», а во-вторых, открытого суда над Синявским и Даниэлем. Автор этих лозунгов и вообще отец правозащитного движения – Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, сын Есенина. Вот с этого момента можно отсчитывать начало довольно аморфного, расплывчатого гражданского движения. А следующий шаг был сделан после процесса Гинзбурга и Галанскова, когда началась кампания открытых писем; со мной как с редактором

согласовывали протестные тексты. Лариса Богораз и Павел Литвинов показывали мне свое знаменитое обращение к мировой общественности, прежде чем его пускать в оборот. Я была редактором в самиздате, и от этого уже случился нормальный переход к изданию «Хроники текущих событий».

И когда пришла пора выйти на Красную площадь, я была уже внутренне готова. Мы, участники демонстрации, себя считали гражданами Советского Союза, страны, которая, может быть, нам не нравится, но мы не нарушаем ее законов. Групповое нарушение общественного порядка на Красной площади в августе 1968-го совершили не мы, а те, кто бил демонстрантов. (Я не говорю «бил нас», потому что мне лично не досталось, я сидела за коляской.) Нарушали те, кто рвал плакаты, кто нас захватывал и кто потом не остался в отделении милиции, чтобы быть свидетелями. Зато они появились как лжесвидетели на суде. Вот они и были действительно уголовными преступниками согласно 193-й статье. А мы были гражданами, которые не нарушали закона.

Всех замели, я осталась на площади одна, сидела с обломком древка и твердила: «Здесь была демонстрация против вторжения в Чехословакию. У нас порвали плакаты, у меня сломали чехословацкий флажок, моих товарищей увезли. По статье 125-й Конституции СССР существует свобода митингов, собраний, демонстраций». И тут сверху от меня, с Лобного места, раздается голос: «А что, это она правильно говорит. Че тут было, я не знаю, но это она права, про ста-

тью-то». Так что мы были просто законопослушными гражданами. Но еще послушнее, чем закону и тем более их толкованию законов, мы были послушны собственной совести.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.